



ЮЛИЙ
КРЕЛИН

Хирург

Хроники одной больницы

*Дни
хирурга
Мишқина*

“КНИГА - СЭФЕР”
2013



Юлий Зусманович Крелин

Хирург

Серия «Хроники одной больницы»

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=136499
Хирург: Книга-Сефер; Тель-Авив; 2013

Аннотация

Самый известный роман великолепного писателя, врача, публициста Юлия Крелина «Хирург», рассказывает о буднях заведующего отделением обычной районной больницы.

Доктор Мишкин, хирург от Бога, не гоняется за регалиями и карьерой, не ищет званий, его главная задача – спасение людей. От своей работы он получает удовлетворение и радость, но еще и горе и боль... Не всегда все удается так, как хочется, но всегда надо делать так, как можешь, работать в полную силу.

О нравственном и этическом выборе жизни обычного человека и пишет Крелин.

Прототипом главного героя был реальный человек, друг Ю. Крелина доктор Михаил Жадкевич. О нем рассказывается в книге – «Очень удачная жизнь».

Содержание

Вместо предисловия	5
ЗАПИСЬ ПЕРВАЯ	8
ЗАПИСЬ ВТОРАЯ	31
ЗАПИСЬ ТРЕТЬЯ	45
ЗАПИСЬ ЧЕТВЕРТАЯ	66
ЗАПИСЬ ПЯТАЯ	100
Конец ознакомительного фрагмента.	115



Юлий Крелин

Хирург

Вместо предисловия

Часто вспоминаю слова моего друга, хирурга и писателя Юлия Крелина (передаю по памяти, не буквально): «Когда я за операционным столом, и в руках моих жизнь одного-единственного человека, – будь тут внезапная война или конец света, и от меня будет зависеть спасение человечества ценой жизни вот этого моего больного – я не побегу спасти человечество этой ценой, потому что я ЗАНЯТ одним и не имею права его бросать – я останусь с ним, со СВОИМ больным, я продолжу СВОЮ работу, пока могу...»

Владимир Леви, психолог

Литературный герой, если это характер подлинный, продолжает жить и вне книги о нем; писатель, как Господь Бог, создал его из праха, из ничего, из мелькнувшей мысли, ощущения – и дальше у него начинается уже своя собственная жизнь.

У Крелина, среди множества очень любопытных

людей, его книги населяющих, есть один самый удивительный – доктор Мишкин, хирург от Бога. Телевидение повторяет порой крелинский сериал о докторе Мишкине, героя там играет Ефремов. Хороший фильм, он и сегодня, спустя годы, живой. Но пусть простят меня поклонники покойного Ефремова, которого я тоже высоко ценю, не получился у него Мишкин таким, как написан он у Крелина. Там действительно удивительный характер – личность неожиданная, необычайно обаятельная. Я очень советую тем, кто эту книгу не читал и кому она попадется, прочесть ее – «Хронику одной больницы», толстый том, где несколько повестей, в каждой действует Мишкин, а в конце авторское послесловие, своеобразный комментарий к судьбе главного героя: Крелин рассказывает о прототипе героя, докторе Михаиле Жадкевиче.

Это написано с такой страстью, силой, любовью и яростью, там столько сказано о человеке, с которым Крелин работал вместе много лет, его ровеснике, о том, как он умирал, заболев тяжелой формой рака, причем сам Жадкевич такие именно случаи оперировал; и то, как все врачи больницы боролись за жизнь товарища; как ему неожиданно стало лучше, он даже вернулся к работе, стал оперировать, а потом вынужден был снова уйти домой и... Это, повторяю, написано с такой силой, любовью и яростью, такая в этом напряженность, азарт, подлинный драматизм, сложность человеческих

отношений...

Думаю, если бы Крелин и не написал больше ничего, одного этого было бы достаточно, чтобы убедиться: Казакевич был прав, герой Крелина останется и будет жить в нашей литературе

Феликс Светов. Из предисловия к книге Ю. Крелина «Извивы памяти»

ЗАПИСЬ ПЕРВАЯ

Доктора-хирурга Мишкина Евгения Львовича вызвали в горздравотдел по поводу жалобы на него. Сейчас будут обсуждать правильность действий его. Он несколько удивлен и озабочен, естественно. Пожалуй, даже обижен. Он сделал больше, чем мог, и вдруг... Почему и от кого жалоба? Сейчас будет все известно. А пока Мишкин Евгений Львович едет и перекачивает свое, возможно, праведное недоумение в не очень праведный гнев, почему-то направленный на комиссию горздрава.

Причем тут комиссия!

Приехал.

Маленькая комната. Около десяти человек, худых и полных, седых и лысых, с галстуками и без галстуков, с сигаретами и без них, сидят в разных местах комнаты, и за столами, и так, на стульях перед пустым местом. Вид почти у всех спокойный, даже благодушный. Здесь все без исключения хирурги.

Это и есть хирургическая комиссия горздравотдела, которая собирается здесь раз в неделю, для того чтобы разбирать жалобы трудящихся на те или иные неправильные, с точки зрения этих трудящихся, действия хирургов города. Это комиссия при главном хирурге города. Остальные хирурги города называют ее «черный трибунал».

Все разговаривают друг с другом, никто не обращает внимания на, так сказать, подследственного.

Наконец председательствующий, один из хирургов, сидящих за столом, постучал по нему зажигалкой.

Председатель. Ну, кажется, время. Да и ждать некого уже. Хватит манежить пострадавшего. Давайте начинать.

Один из членов комиссии, с большой нелысеющей и неседующей шевелюрой, засмеялся:

– Если хотите, можно назвать его и пострадавшим, но сдаётся мне, что пострадавший не он, а вовсе... А?! – Громко хохочет. К нему присоединяется большинство присутствующих.

Председатель. Ну, пошутили, и будет. Назовем его обсуждаемым. Прошу вас, коллега. Вот вам текст жалобы. Инспектор, готовивший материал, заболел. Читайте сами, пожалуйста, вслух.

Мишкин. «Уважаемая редакция...»

Член комиссии толстый, с гладкой причёской. А кому жалоба? Не нам?

Член комиссии с шевелюрой. А вы часто видите жалобы нам? Это всегда куда-то, а уж нам – откуда-то. Почему-то им сдаётся, что газета, партийные организации – это высшие медицинские инстанции. (Опять хохот.)

Член комиссии худой, с длинным лицом. Что зря говорить. Первый раз, что ли, пересылают нам жалобы оттуда.

Читайте.

Мишкин. «Наш сослуживец, товарищ по работе, находился в больнице по поводу инфаркта сердца. Терапевты его вылечили и он должен был уже выписаться, и каково же было наше удивление, когда однажды придя в больницу, мы узнали, что наш работник был ночью разрезан хирургами, хотя он и находился в терапевтическом отделении без предварительного разговора с родственниками даже...»

Член комиссии с трубкой в зубах. Что вы читаете, как пономарь, без знаков препинания?

Мишкин. Я читаю, как написано.

Член комиссии с седой шевелюрой. Я помню, у нас в больнице пришлось тоже оперировать больного с инфарктом. У него вдруг старая язва желудка дала прободение. Все в порядке было, но на нас пожаловались: сказали, что это от лекарств. На терапевтов жаловались. Ну, им объяснили.

Член комиссии маленький и круглый. Мне тоже как-то пришлось оперировать инфарктного больного: желчный пузырь лопнул. Шутка ли! Все это было, правда, на глазах у родственников. Сами видели, какие боли, сами просили быстрее оперировать. Выздоровел мужик. Я вам скажу, что иногда, когда родственники ближе, нам бывает спокойнее.

Член комиссии самый старый. И все-таки, когда родственники не висят над душой, работать легче.

Маленький и круглый. О чем говорить? Конечно. Но скажу вам, что если их пускаешь каждый день, хоть они и лезут

куда не надо все время, но спокойнее. И жалоб меньше, а это шутка ли!

Толстый с гладкой прической. Все эти жалобы лично меня не волнуют. Запишешь историю болезни как следует быть — все, бояться нечего.

Член комиссии с шевелюрой (захохотал). О! Главное в нашем деле, сдается мне, хорошо записать про то, как мы прекрасно все сделали.

Председатель. Шутки в сторону, товарищи. Читайте дальше. Зачем вы оперировали его? Что случилось?

Мишкин. Да мы... У него...

Самый старый. Читайте, читайте, все узнаем.

Мишкин. «...без предварительного разговора с родственниками даже он был оперирован, а им сказали, что его пришлось оживлять. Мы не вдаемся в подробности и детали медицины. Но результат этих действий столь печальный, что мы обращаемся к редакции с просьбой помочь нам разъяснить целый ряд недоумений».

Худой с длинным лицом. Нашли адрес! А к вам-то они не обращались с вопросами, недоумениями? Надо бы к докторам сначала.

Мишкин. Ваш вызов для нас полная неожиданность.

Маленький и круглый. Надо обязательно как следует, подробно и долго разговаривать с близкими, особенно когда оживление. Шутка ли!

Мишкин. Да мы разговаривали не раз. Пишут-то не род-

ственники.

Маленький и круглый. Больше. Мало, значит. Шутка ли, ведь очень трудно, наверное, объяснить, что родственник их, сослуживец умер, и его пришлось оживлять. Воскрешать! – шутка ли!

Толстый с гладкой прической. А что там особенного разговаривать. Если ты все правильно сделал – ничего не страшно. Главное – записать надо. А дело известное – если жалоба может быть, лучше не связываться.

Председатель. До чего же нас испортили жалобы. Мы больше думаем о записях. Вы подумайте, что вы сказали – «не делать». А если надо?

Мишкин. Простите меня. Какие записи? Ведь есть приказ министра писать меньше, только необходимое.

Толстый с гладкой прической (быстро вынул руку из кармана и из своей большой кисти, которая, наверное, и есть «умная рука хирурга», скрутил фигу). Вот, видал! Ты прости, но все эти указания и приказы – ерунда, коту под это, вот так. Министр здравоохранения может давать любые указания, а у следователя свои инструкции. У него есть один документ – история болезни. Если там написано все – ты спасен. Не написал – погиб.

Мишкин. Так что ж, я своей историей доказываю свою невиновность?!

Толстый с гладкой прической. А то!

Мишкин. Ну уж! Есть законы права – существует пре-

зумпция невинности. Что, я, что ли, своей историей болезни должен отбиваться от его подозрений?! Нет, я для следователя невиновен, если он подозревает – он должен доказать, обосновать свои подозрения, а не я должен отбиваться. Следователь должен отбиваться.

Член комиссии с шевелюрой. Сдается мне, что вы слишком за это понимаете, как сказали бы у нас на Привозе. Вы когда-нибудь были у прокурора, в прокуратуре? Нет. А когда вам там скажут, что вы лечили неправильно, потому что так в письме написали жена, сын, сослуживец, – вы, именно вы, а не кто другой, должны будете доказать, что правильно лечили вы, вы, а не следователь. Вы должны доказать, что вы мастер. И именно историей болезни своей! А?!

Мишкин. Да нет же! Чтобы у следователя повернулся язык слово даже сказать о неправильном лечении – мало жалобы, эту мысль надо доказать, прежде чем в слова громкие воплотить. (Все смеются.)

Член комиссии с шевелюрой. Молодой человек! Сдается мне, что все это вы читали не в медицинских журналах. Вы теоретизируете, а мы тут вас еженедельно защищаем. Спасаем.

Мишкин. Значит, надо менять систему контроля...

Председатель. Я думаю, мы дадим возможность все ж сегодня дочитать до конца, а?

Маленький и круглый. А я вам скажу, что коллега частично прав. Ну, не совсем, конечно. Уж чересчур, по молодости.

С какой стати следователю-то, когда грозит не ему...

Мишкин. Но таково право...

Толстый с гладкой прической. Что ты – «право» да «право». Здравый смысл – кому что-то грозит, тот и защищается.

Мишкин. Но это здравый смысл бесправного племени. А государство должно стоять и стоит на страже личности, и вы не правы.

Маленький и круглый. Вы подождите, подождите. Мы все совершенно безграмотны. А это право – шутка ли! Так вот, в больнице у нас было несчастье – больной погиб неожиданно. Жалоба была. Так вот, мы ходили по медицинским инстанциям – человеку никакой веры. Написано или не написано и что написано. Хоть тресни. Ну, как и положено. Как и мы. И скажу вам, поверили нам только следователи. Они не бумажки взяли, а свидетелей спросили. И свидетелю, человеку, поверили. Так что частично коллега прав.

Мишкин. Вот и лучше, чем с вами, простите, я не лично вас имею в виду, чем с вами – лучше с судом. Здесь инструкции да распоряжения, а в суде закон.

Седой с шевелюрой. А мы не закон, что ли?

Председатель. Ладно, кончайте. Мы не закон – мы распоряжения, инструкция, циркуляр, методические письма. Прошу вас, читайте.

Мишкин. «Во-первых, нам не совсем ясно, как человека, лежащего с таким тяжелым сердечным заболеванием, можно оперировать...»

Самый старый. Логика поразительна! Оживление – и вдруг такой вопрос.

Мишкин. «Во-вторых, нам известно, что сегодня уровень медицины достаточно высок и оживления проводят без разрезания грудной клетки ножом, а закрытым методом...»

Седой с шевелюрой. Смотри-ка – грамотные все. Сколько вот было жалоб – все от грамотности.

Маленький и круглый. От полуграмотности.

Седой и лысый. И лечить трудно. В индусских ведах еще пять тысяч лет назад писали: «Дураков лечить легче». Боюсь, что нам сейчас лечить труднее, чем им тогда. Во-первых, дуракам-то тоже, наверное, лечить легче... (Все смеются.)

Седой с шевелюрой. Ну, древних индусов дураками не назовешь.

Член комиссии с шевелюрой. Сдается мне, что нам надо договориться о терминах. Дурак даже если узнал что-то – все равно дурак. А?! (Хохочет.)

Толстый с гладкой прической. Нет, это уже полудурак. (Все смеются.)

Самый старый. Полудураки – это мы.

Седой и лысый. Нет, мы полуумные. А ведь кто-то говорил, что знания не есть признак ума.

Председатель. Ведь так будет до завтра.

Мишкин. Я прочел недавно в одной книге, что дурак – это тот, кто считает себя умнее меня.

Член комиссии с трубкой в зубах. Тогда большинство ду-

раков, и тогда всех лечить легче. И всем легче. Ну, давайте дальше. Вы-то уж совсем зря разговорились, коллега.

Мишкин. Я для беседы. К слову пришлось. Я ведь сейчас просто читчик.

Член комиссии с трубкой. А может, можно рассказать суть дела, а не читать все подряд?

Председатель. К сожалению, заболела инспектор, которая готовила материал. Так что мы решили экспромтом, разбираться на ходу. Но для этого нужно терпение, товарищи. Дайте дочитать.

Мишкин. «Насколько нам известно, речь шла не только об известном нам по газетам массаже сердца, т. к., по слухам, сшивали какие-то сосуды...»

Толстый с гладкой прической. Что, порвали что-то, небось?

Маленький и круглый. Воистину санпросветработа стала абсолютно вредной. Вот бы взяли да обучили всех нас контролировать работу часовщиков и мастеров телеателье. Шутка ли! Все знают, а ведь ничего не знают. Кстати, помню, пришлось оживать одного больного – кровотечение, так я делал массаж, а помощник перевязывал сосуды в это время.

Член комиссии с трубкой. Понимаешь, да? Рассуждаешь сейчас. А ты помнишь, когда это все только начиналось и я, делая массаж сердца, порвал сосуд, и ничего нельзя было сделать? Помнишь? Ты с комиссией приезжал. Так что ты сделал со мной?! Ты же на мне камня на камне не оставил.

Я до сих пор помню.

Маленький и круглый. Во-первых, мы тебя от суда спасали...

Член комиссии с трубкой. От суда! Мы всегда спасаем от суда...

Маленький и круглый. Я тогда молод был, все знал, как другим жить. Потом, сам-то я тогда никогда не делал этого...

Председатель. Между прочим, когда Барнард пересадил сердце, француз Дюбое его осудил за это, а вскоре и сам пересадил. Так что чего уж поминать.

Самый старый. А все оттого, что персонал совершенно распушен. Как это так, что известно всем о зашиваемых сосудах. И тут, конечно, уже ясна ваша вина. Никто не должен знать, что происходит в операционной.

Маленький и круглый. Ну, уж знаете! Передайте, пожалуйста, водички. Все, что происходит и у нас и где угодно, должно быть в условиях абсолютной гласности. Нет, нет! Не перебивайте. Да, да. Гласность, гласность! И чтобы не было такой ситуации, когда мы боимся ее.

Толстый с гладкой прической. Да вы что?! Мы такой психоз породим в ответ. Наша кровь, гной, грязь, осложнения приведут в ужас непосвященных. Нет, весь ужас нашей работы должен быть скрыт от всех.

Маленький и круглый. Когда-то Амбруаза Паре ругали, что он не по-латыни книги медицинские пишет. Нельзя, говорили ему, чтобы непосвященные могли читать. Врачи ана-

феме предавали – боялись за себя. Ничего. Все по-прежнему. От гласности плохо миру нашему не бывало.

Седой и лысый. Нет. Как сказал мудрец: «О тайнах сокровенных невеждам не кричи, и бисер знаний ценных пред глупым не мечи».

(Все кричат, перебивая друг друга. Все про гласность суждение имеют, рассуждают. Большинство за тайну.)

Председатель. Подождите! В конце концов, пора покончить с тайной и предать гласности эту жалобу. При чем тут сосуды, коллега? Это же не кровотечение – инфаркт. В чем дело? Объясните. И действительно, почему вы делали открытый массаж?

Седой с шевелюрой. Я раньше, когда шли первые оживления, тоже всегда делал открытый. А сейчас только закрытый. Это не только безопасней, но, по-моему, и эффективней.

Самый старый. А я вам скажу, что все эти оживляющие массажи сердечные – пустая фанаберия. Конечно, надо. Если человек умирает – использовать надо все; но веры в это у меня нет.

Седой и лысый. Если бы наше оживление никогда бы даже не помогало, мы должны были бы его выдумать. Если Бога даже нет, его надо выдумать. Оживление вселяет и надежду и веру; как в медицину со стороны обывателя, так и со стороны врача в свои силы.

Председатель. Минуточку, товарищи. Прошу вас, ответьте, коллега.

Мишкин. Оживление было постольку поскольку, главное...

Член комиссии с трубкой. Как вы можете говорить: «Оживление постольку поскольку». Все ж это оживление, а не перевязка. Это облегченное представление и вызывает в конечном итоге жалобы.

Председатель. А вы дайте договорить хотя бы. Я уже не говорю – дочитать. Ну, просто сил нет. Уже скоро час сидим, а даже жалобы не можем прочесть. Все-таки бюрократы нам необходимы, коль вместо суда у нас комиссии по разбору. Сейчас бы чиновник, инспектор наш, доложил бы – мы б уже к концу подошли. Будем считать сегодняшний эксперимент-экспромт неудавшимся. Продолжайте, коллега.

Мишкин (усмехнулся). Я уже запутался – на какой вопрос отвечать? А вы историю болезни тоже не читали еще?

Председатель. Нет, конечно. Все эти бумаги мы взяли в руки только что. Об этом я и говорю. Почему открытый массаж был? Зачем вскрывали грудную клетку? Что за сосуды?

Мишкин. Я об этом и хотел сказать. Я потому так на нашу «надежу-оживление» говорю, что его, по существу, в нашем обычном смысле этого слова, не было. Я оперировал его, а не массировал сердце...

Председатель. Значит, жалобщики правы? А каковы показания для операции?

Мишкин. Я об этом и говорю. У больного была эмболия легочной артерии.

(Все в том или ином варианте вскричали: «Что!», «И вы пошли!» Кто саркастически улыбался, кто махал рукой, кто разводил руками. Ясно было со стороны, что они попусту тратят время на зряшность и прожектерство.)

Худой с длинным лицом. Да, уж теперь конца не будет. Как вы могли пойти на такую авантюру?! У нас в лучших институтах с прекрасным оборудованием ничего не удаётся, а тут... Больные все погибают, как и не оперированные. Неужели вам надо это объяснять? Простите, может быть, о соответствии вопрос и не надо бы ставить, но вы чужак. Домой, домой пора. Хватит. Я за выговор.

Председатель. Нет, товарищи. Мы должны предоставить нашему молодому товарищу возможность полностью высказаться. Хотя, априорно, я тоже считаю это авантурой.

Седой и лысый. Почему же авантюра?! Теоретически, если мы успеем удалить сгусток из артерии – мы спасем человека.

Самый старый. Это аксиома, трюизм! Но «УСПЕЕМ»! Вы слышали, чтобы кто-нибудь успел? Лично я не слышал.

Седой и лысый. Здравствуйте! В литературе мы знаем, – по-моему, во всем мире около тридцати удач.

Толстый с гладкой причёской. И миллионы потерь.

Председатель. Ну, вообще-то, даже одна удача во всем мире позволяет нам совершить спасительную попытку. Миллионы потерь без этих тридцати, в конце концов. Оперировать только смертников.

Член комиссии с шевелюрой. Но попытка должна быть с годными средствами. Сдается мне, что ни один из известных мне хирургов сделать это не сумел. И не какие-нибудь, а действительно гиганты. А тут, в маленькой больничке, кидаются на больного с ножом ради какой-то химеры, с явным риском получить жалобу. Каково теперь всей больнице!

Мишкин. Но ведь мы...

Худой с длинным лицом. А вы бы, молодой человек, помолчали бы. Вы говорите, когда вас спросят. Бог знает, за что взялись, подвели под монастырь всю больницу, оторвали у нас кучу времени. Хоть бы послушали бы, что вам говорят старшие товарищи.

Мишкин (опять усмехнулся). Время не я у вас отнял. Не на меня жалоба, так другую бы разбирали.

Председатель. Не огрызайтесь. Поберегите себя.

Седой и лысый. А я вам говорю, что каждый из нас имеет право на подобные попытки. Ведь перед нами труп. А вдруг!..

Член комиссии с трубкой. Но не такому же младенцу идти на подобную попытку. Какой у вас стаж? Сколько лет...

Мишкин. Пятнадцать.

Член комиссии с трубкой. Вот видите! Мы лет по тридцать работаем, а ведем себя скромнее.

Мишкин. Годы не аргумент...

Председатель. Я все-таки согласен с теоретической возможностью успеха подобных попыток. И нельзя отказывать

в этом праве любому хирургу.

Член комиссии с трубкой. Да это эксперимент на людях!

Седой и лысый. Верно. Но не надо бояться этого. Это же труп. Если не на сто, так на все миллион процентов. Это эксперимент не на человеке, а на трупе.

Худой с длинным лицом. Если бы у меня в больнице кто-нибудь посмел, я бы своему молодцу вклеил бы так, что год, бы он у меня к столу не подошел бы. Пусть истории писал бы. Но этот-то сам себе зав. Зав хренов.

Маленький и круглый. А смелость какова! Шутка ли! Пойти на эмболию! А почему бы и нет! Пусть пробует. Больной-то ведь действительно практически умер. Ха – терять нечего, а приобрести можно целый мир для целого человека. С завов его снять, а попытки разрешить. Ха!

Член комиссии с шевелюрой (хохочет). И правильно. Действительно эмболия! Дыхания нет. МерТВ. Пусть старается. Конечно, авантюра, но оживить можно. Пусть теоретически, но ведь это все равно труп. И меры приняли – сняли.

Самый старый. Нет. Нет. Товарищи! Не делайте такой глупости. Практически это невозможно. Больнице от этого неприятности. Жалобы идут. Сегодня он произвел негодную попытку на трупе, а завтра он начнет экспериментировать на живых людях. Я предлагаю это решительно осудить. И чтобы все хирурги города знали. Иначе мы очень скоро получим повальную игру со смертью. Этим не играют, товарищи.

(Мишкин снова усмехнулся.)

Седой и лысый. Именно что со смертью! С жизнью-то он не играл. Он играл со смертью, уже наступившей. В конце концов, мы все на пороге. Если бы меня так спасали, до конца. А?! Нет, я не вижу оснований для осуждений. Это не логика: сегодня ты обманул меня, завтра учителя, а послезавтра...

Председатель. Мы не можем осудить за то, что хирург пытался уничтожить уже пришедшую смерть.

Худой с длинным лицом. Действительно. Почему бы и нет! Пусть себе. Выговор-то можно бы и дать, чтоб больше не привязывались, но без огласки. Я бы за выговор. Пора кончать.

Мишкин. Но вы же...

Самый старый. Вот, пожалуйста. Только услышал реплику в свою защиту и тут же вступил в разговор старших. Вы же, доктор, не полноправный член нашего синклита. Мы ведь ваши действия обсуждаем. А вы слушайте, учитесь, черт возьми!

Седой и лысый (обращается к самому старому). Я с тобой уже четверть века знаком, и ты все время такой. Ты не разумный скептик, а вечно ищущий подвоха. И рот еще затыкаешь.

Самый старый. Где же я тут ищу подвоха?!

Седой и лысый. А ты не конкретно не веришь, а глобально на всякий случай не доверяешь всему.

Председатель. Ну, хватит. Мы не для этого здесь собра-

лись. Взаимное выяснение своих характерологических особенностей не на заседаниях устраивают, а за бутылкой.

Самый старый. Я ищу не подвоха, а выясняю, нет ли за простой авантюрой вины злостной или суетной.

Седой и лысый. Вот, вот! Я и говорю, что ты не меняешься. Ты, черт побери, не от старости такой, а генетически.

Худой с шевелюрой. Ну, кончайте, время-то идет без толку.

Седой и лысый. Я помню, как двадцать лет назад он на партийном бюро разбирал мой роман с одной сестрой. Ну, было дело! Влезли они тогда не в свое дело. Все испортили, конечно. Так еще тогда он говорил приблизительно то же самое, что ищет за нашими отношениями злостной или суетной вины. Поразительно просто!

Самый старый. А девочка-то была прекрасна. Какая кожа! Где она?

Седой и лысый. Тебе-то что. Все тогда испортили. И ты тоже.

Председатель. Хватит...

Седой и лысый. Нет, ты и сейчас такой же. Я об этом и говорю. Я тебя простил, но не забыл.

Самый старый. Прекрати. В конце концов, здесь с нами молодой коллега.

Толстый с гладкой прической. Сдается мне, что вы, друзья, отвлеклись. Хотя и это все интересно. (Ха-ха!) А где та девочка?

Седой и лысый. Жива и в порядке...

Мишкин. Разрешите закурить.

Председатель. Конечно.

(Большинство закуривает. Немного молчания.)

Толстый с гладкой прической. Черт его знает. Я не знаю.

Председатель. Итак, насколько я понимаю, большинство не осуждает попытку, но и не одобряет нашего молодого коллегу. Так?

Самый старый. И все-таки я решительно осуждаю и попытку и самого автора ее.

Седой и лысый. Вот-вот.

Председатель. Я и говорю, большинство (смеется).

Худой с длинным лицом. Кому можно, а кому и нельзя.

Пусть не осуждаем попытку в принципе, но осуждаем попытку с негодными средствами, как это было в данном случае.

Седой и лысый. А если не прыгать, то и не допрыгнешь.

Худой с длинным лицом. В конце концов, это неважно.

Пора бы кончать. Жалоба эта гроша выеденного не стоит.

Председатель. Давайте все же дочитаем жалобу до конца. Прошу вас.

Мишкин (он в явной неприязненной оппозиции и с нарочитой иронической усмешкой). Да тут, по-моему, и жалобы-то нет.

Возгласы. Читайте. И быстрее. Вон уже сколько времени.

Мишкин, «...в результате исход для нас, сослуживцев, печальный...»

Член комиссии с трубкой. Для сослуживцев! Сильны!

Мишкин. «...Мы потеряли прекрасного работника. Он вынужден сидеть дома на инвалидности...»

(Сцена типа знаменитой «немой», но с криками и возгласами: «Как!», «Что!», «Почему!», «Не было эмболии?!», «В чем дело?! „Живой?!“» И так далее.)

Мишкин. «...В конце концов, мы не...»

Возгласы. Подождите. Объясните. Он живой? И т. д.

Мишкин. Живой.

Председатель. А что вы сделали?

Мишкин. Удалил тромб. Восстановил сердечную деятельность. Зашил грудную клетку и через месяц выписал. Теперь у него инвалидность.

Председатель. Что же вы молчали и дурили нам голову? Простите, как ваше имя-отчество?

Мишкин. Евгений Львович. Вы ж не давали мне рта раскрыть.

Самый старый. Этого не может быть, Евгений Львович.

Мишкин. Потому что этого не может быть никогда? Нет, правда. Честное слово, на инвалидности (издевается).

Седой и лысый. Успели?

Мишкин. Раз живой.

Председатель. Когда это было, Евгений Львович?

Мишкин. Около полугода назад.

Председатель. Почему же вы нигде не сделали сообщения, хотя бы на обществе?

Мишкин. Не успел.

Маленький и круглый. Ну, знаете ли! Шутка ли!

Толстый с гладкой прической. А как вы делали? Евгений Львович, расскажите, пожалуйста.

Мишкин. Да как описано.

Седой с шевелюрой. А сколько минут прошло от начала операции до удаления тромба?

Мишкин. Не больше пяти. А может, и меньше.

Председатель. Как вы успели?!

Мишкин. А мы торопились.

Председатель. Сердце обычно останавливается, если легочная долго пережата. А ведь еще и до этого препятствие мешает?

Мишкин. А это бывает от перегрузки правого желудочка. А мы случайно его поранили и тем самым разгрузили.

Самый старый. Поранили и не остановились?

Мишкин. Выпустили немного крови из правого желудочка, зажали рану и делали дальше.

Седой с шевелюрой. А дальше как же?

Мишкин. А после зашили.

Толстый с гладкой прической. У меня бы руки опустились.

Мишкин. Они у меня мысленно много раз опускались. А раньше и не мысленно.

Седой и лысый. Это уж точно уму непостижимо. Так вам всем и надо.

Самый старый. Просто не верю.

Мишкин. Ничем не могу помочь.

Самый старый. Нет, Евгений Львович, я вам верю. Факт – это факт. И все-таки трудно поверить в этот факт. Невероятно!

Мишкин. Да вы посмотрите историю болезни.

Самый старый. Обязательно! Обязательно. Изучать буду. Я вас поздравляю, коллега Мишкин. Я просто не знаю такого случая даже.

Председатель. Но почему же тогда жалоба?! Почему печальный исход, как пишут они?

Седой с шевелюрой. Как же! Что им успех! Что им наши радости, наши заботы и печали. У них свои. У них человек на инвалидность ушел. Для дела их – исход печальный. А для нас, простите, – это событие радостное. Дорогой Евгений Львович, мы вас искренне поздравляем, коллега. А жалоба...

Мишкин. Я дочитал ее до конца...

(Все гудят, не дают ему сказать.)

Председатель. Товарищи, нам же говорит что-то Евгений Львович. Дайте сказать. (Все тотчас замолкают. Слушают.)
Прошу вас, доктор.

Мишкин. Я говорю, что прочел эту жалобу до конца, там вовсе...

Член комиссии с трубкой. Да плюньте на жалобу. Мы ответим...

Мишкин. Я говорю, что нет тут жалобы в конце.

Председатель. Как нет? А что там? Нам же из газеты переслали для разбора.

Седой и лысый. Переслали, наверное, не дочитав до конца.

Толстый с гладкой прической. Да и мы до конца ведь не дочитали. А что у вас с рукой, Евгений Львович? На операции?

Мишкин. На субботнике. На погрузке картошки.

Седой и лысый. Фантастика!

Председатель. Ну ладно, ладно уж. Я ж говорю, нужен чиновник для доклада. Так что же они хотят? Давайте мне, Евгений Львович, я дочитаю. «...В конце концов, мы не имеем претензий. Мы не жалуемся». Так прямо и пишут, товарищи! «Мы не понимаем». Они, во первых, не понимают, что все написанное в инстанции пересылается и все равно разбирается как жалоба, и для того мы здесь сидим. Мы должны думать, казнить или не казнить, а не казнить или награждать. Ну ладно, дальше. – «И если это велико, как говорили нам в больнице, то о великом напишите в газете. Если ordinarily, но правильно – расскажите нам, чтоб было понятно. Если плохо – предупредите». Все, и дальше подписи. Ах, как некстати заболел инспектор. Собственно, все, товарищи, на сегодня. Для руководства нужен грамотный чиновник, а не специалист. До свидания. А вы чем-то недовольны, Евгений Львович?

Мишкин. Да нет. Теперь ведь всегда при эмболии придется идти на риск. Всегда придется оперировать.

Седой и лысый. Непонятно. Ну и что?

Мишкин. Кончилась свобода выбора. Каждый полученный успех лишает нас свободы выбора. Теперь не сомневаться буду я, а оперировать. Не думать, а действовать.

Самый старый. Что ж в этом плохого, если эксперимент за все уже решил?

Мишкин. А я не хочу, чтоб за меня что-то или кто-то решил, даже если я сам это породил! Я люблю сомневаться.

Самый старый. Нет, выговор, пожалуй, вам все-таки надо дать... Утешайтесь тем, что и у других теперь уменьшилась свобода выбора.

Председатель (смеется). Я ж говорю, что нам не хватает чиновника, подготовлявшего бы материал. Время позднее. До свидания, товарищи.

ЗАПИСЬ ВТОРАЯ

А дело было так. Евгений Львович сидел дома в кресле, вытянув свои длинные, очень длинные ноги, пытаясь, не сходя с места, с кресла, загнать в угол собаку. Собака – прекрасный рыжий ирландский сеттер – увертывалась от ног, а Мишкин все больше и больше сползал, так что почти все его два метра, за исключением части от лопаток и до темени, висели в воздухе, выползая из кресла. Сын валялся на тахте и канючил:

- Пап, оставь его в покое, пап, не мучай собаку, пап.
- Да я не мучаю – ему ж тоже нравится. Мы ж играем.
- А вот тебя бы так.
- Если с любовью, то...

И это все длилось уже около получаса. Все участники этой игры и дискуссии были довольны. Соседка из коридора:

- Евгений Львович, вас к телефону.

Мишкин встал, пошел к дверям. Собака, будто и не старалась увернуться от его ног, потянулась за ними. Она словно приклеилась к его штанине и была приклеенной до самой двери. Но в общий коридор квартиры не вышла. Собака, по-видимому, понимала, что в общей квартире надо иметь письменное согласие всех жильцов на ее присутствие здесь, а этого разрешения Мишкин не получил, а импульсивно купил пса, как только посмотрел в глаза тогда еще безымянно-

го щеночка, ныне нареченного Рэдом.

Рэд не выходил из комнаты, а оставался на пороге, даже когда дверь была раскрыта настежь.

– Я слушаю... В терапии?.. А почему вы думаете, что эмболия?.. Сколько времени прошло?.. Полтора часа! Могли бы и раньше позвонить... Синяя? Одышка есть?.. Кровь, значит, хоть немного, но проходит в легкие... Ладно, ладно. Готовьте операционную.

Рэд встретил Евгения Львовича в дверях, снова приклеился носом к штанине, но игры уже не было.

– Я уезжаю в больницу.

Особого впечатления это ни на кого не произвело. Евгений Львович одевался. Галя спросила:

– А что там?

– Говорят, эмболия легочной артерии.

– У твоего больного? Оперировал?

– Нет, в терапии. Инфаркт. Третий месяц.

– Что ж ты будешь делать?

– Попробую.

– С ума сошел! А вдруг это не эмболия, а повторный инфаркт?

– Будут сомнения – не буду делать.

Пока все это происходило и говорилось в относительно медленном темпе.

– Когда у тебя была последняя попытка?

– Четыре месяца уже. Но то был случай мертвый. Да и рак

неоперабельный. Я как автомат был – вижу, умирает человек, – давай спасать.

– А после на трупах делал?

– Раза два.

– Я с тобой поеду, ладно?

– Конечно. Там же наркоз дать некому. Хорошо, что ты у себя не дежуришь.

– А почему ты не торопишься, Жень?

– Разве?

По лестнице он спускался еще медленно. К такси они шли уже быстрее.

– А ты почему машину не просил прислать?

– Пока она приедет. Да и они где-то должны просить. А им давать не будут. Так быстрее.

Галя была в длинном модном пальто, застегивающемся лишь у талии. С увеличением скорости пальто все больше и больше распахивалось, полы его превращались в огромные крылья.

На стоянке такси большая очередь.

– Женя, я сейчас попрошу разрешения у очереди.

– Да ты с ума сошла. Неудобно.

– Товарищи, нам надо срочно в больницу, на операцию вызвали.

Никто ничего не отвечал – не возражали и не предлагали.

Он прошипел, что надо уходить и искать такси в дороге. Она отмахнулась от него. Из-за очереди появился диспетчер

с красной повязкой.

– Вон машина подходит. Садитесь.

Галя подошла к машине под защитой диспетчера. Из очереди кто-то робко сказал: «А может, врут – ишь пальто длинное надела, и он длинный».

– Чем они недовольны? – спросил шофер, когда они уже отъехали.

– Мы без очереди, – охотно ответила Галя. – Нам в больницу. На операцию вызвали.

– А вы бы не спрашивали. Сказали б милиционеру. Оставил бы любую машину. Положено.

– А нам диспетчер помог.

Они сидели сзади. Мишкин сел на самом краю сиденья, вытянув вперед спину и шею, упираясь коленями в спинку переднего диванчика. И видимое его спокойствие тоже кончилось.

– Не забудут ли они долото для грудины положить.

– А ты сказал?

– Я сказал, чтоб все сосудистое положили... А может, и это не сказал.

– Положат, наверное.

– Ведь, в случае удачи, это на всю ночь, Галя. А ты дежуришь завтра.

– Что поделаешь. Лучше ж я дам наркоз, чем сестра. Вы знаете, – обратилась она к шоферу, – там к больнице объезд большой. Нет левого поворота. Вы либо должны нарушить,

либо мы сойдем у перехода и добежим пешком. Там разворот километра четыре.

– Вообще-то можно нарушить. Да я опасаясь чего-то. Он же, если остановит, сначала права мои будет смотреть, потом свои права качать – вас расспрашивать. Время потеряем. А меня накажет – ищи потом правды.

– Сойдем, сойдем. – От бывшего спокойствия и неторопливости у Мишкина не осталось и следа.

Выйдя из такси, они сразу же побежали. В сумерках виднелись лишь их силуэты. Впереди быстро двигалась неправдоподобная, от темноты еще более увеличивающаяся высота, верста – уж не знаю, как это назвать. А сзади бежала женщина, нижняя половина которой была двумя крылами.

В школе его ребята звали – бесконечная прямая. Но сейчас бежал длинный изломанный столб и сзади летела птица.

В коридоре их встретила сестра: «Больной в операционной. Все врачи там».

Пuls – относительно хорош. Давление держит. Уже что-то капает в вену.

– С больным говорили?

– Естественно.

– А с родственниками?

– Терапевты разговаривали.

– А что терапевты говорят? – это уже Галя интересуется. Она часто, в этой формально чужой для нее больнице, дает по ночам наркоз. Когда в тяжелых случаях вызывают Миш-

кина – едет и она, если не дежурит.

– А терапевты говорят то же самое: помирает больной и ничего сделать нельзя.

– Кардиограмма что?

– Считают, что эмболия.

– Когда инфаркт был?

– Срок уже большой. Ходил уже.

– Все равно. Другого-то выхода нет.

– А это, думаете, выход? Доктор Онисов полон сомнений.

– Нет, вы уникамы. Это же полная безнадежность. Ничего не выйдет. Приехали! Сейчас работы на всю ночь. Силы все истратим. Лекарств уничтожим – спасу нет. Кровь по «скорой» со станции привезли – и ее истратим.

Мишкин уже переоделся в операционную пижаму.

– Кровь заказали?

– Уже привезли.

– Больной спит. – Быстро Галя работает. Впрочем, причем тут Галя? Слаб больной очень – сразу уснул.

– Галина Степановна, давление хорошо держит?

– Когда качаем в вену – держит, Евгений Львович. Мойтесь быстрее.

С Мишкиным моются дежурные хирурги Алексей Артамонович Онисов и Игорь Иванович Илющенко.

Онисов. Нет, ты, Мишкин, уникам. Ехать и затевать это в явном...

Мишкин (он нетерпеливо топает ногой, так сказать, сучит

ногами). Прекрати болтовню. Мойся. Зачем звонил тогда?

Онисов. Ну, а как не позвонить?! Ты же съешь, но я считаю, что напрасно все это.

Мишкин мылся очень сокращенно, так сказать.

– Ну, не баня же, быстрее надо, быстрее. Есть же случаи, когда все инструкции до конца не соблюдают.

Он мазал грудь йодом, но на месте спокойно не стоял. Притопывал, издавал какие-то постанывающие звуки, его карие глаза над белой маской-то казались совсем черными, то светлели. Он только накрыл больного простынями и, не дожидаясь прикрепления их, потянулся к инструментам.

– Евгений Львович, подождите. Сейчас давление померим.

– Раньше надо было, мне некогда, Галина Степановна.

– Женя, подожди. Перед разрезом надо же померить еще раз. Не кровотечение – такой экстренности нет.

– По молодости мы вам прощаем, Галина Степановна, мысль об отсутствии необходимости в спешке. – Однако обычно снимающее с него напряжение хамство по отношению к жене на этот раз успокоило очень незначительно, но скальпель на стол положил.

Галя шепчет сестре-анестезисту:

– И сам понимает, что можно не торопиться, видишь, какими длинными оборотами говорит. Торопиться надо после вскрытия грудной клетки.

Вступил в дискуссию Онисов:

– Ты чего-то, Мишкин, нерешителен сегодня. Сомневаешься, да?

– А я всегда нерешителен. Убийцы только бывают решительными. Гитлер был перед началом войны решительным. Дурак ты, нерешительность заставляет задуматься. Это зло растет само, а добро надо выращивать, а для этого сомневаться.

Болтает Евгений Львович – нервничает.

– Можете начинать.

Мишкин взял в руки нож. Он простонал дважды – то ли от нетерпения, то ли от волнения, то ли от сомнения.

Галя напряженно, но совсем не удивленно посмотрела на него.

(А я бы все равно удивился. Сколько бы я ни видел его в работе, в жизни, я все равно удивляюсь. Я не могу привыкнуть ни к его жизни, ни к его манере оперировать. Я смотрю на то, как и что он делает, и я все это могу, я все могу делать так, как он, я понимаю так, как он; но почему-то он делает, а я нет. Я уже один раз слышал этот стон. Перед тяжелой, с неясной перспективой операцией. Это стон какой-то разрешающейся страсти, стон облегчения, стон ужаса и радости, стон испуга за себя и за другого. Откуда этот стон, когда он сам мне говорил о своей работе не как о чем-то непостижимом, он говорил о работе своей как об обыденном тяжелом труде. Тогда откуда этот стон? Он говорил мне: «Ты же видишь, как приходится работать. Я люблю эту работу,

люблю. Работа для меня не обыденщина, но самое что ни на есть обывательское дело. Поэтому мне нужна разрядка, ну, выпить, что ли, с кем-нибудь приятным мне. Только обязательно в приятной компании выпить, не просто выпить. А с приятными и напиться можно – голова не болит. Это от выпивки как от самоцели голова после болит. Работа, семья – это хорошо, это здорово, но это каждодневно, это обыденщина. Нужна разрядка. Хотя какая-нибудь операция может быть и разрядкой».

Но все это пустые слова, пустые декларации, наверное.

Откуда этот стон?!

Все это для него – дело каждого дня, но он чуть по-другому относится к своему делу, чем все. Помню еще одну его речь, когда мы сидели в хорошей, своей для меня компании, то есть он и я:

«Боже! Какой кретин я! Самодовольное ничтожество. Прочел в очерке: „Осторожно, словно кашмирскую шаль, хирург рассек сердечную сорочку...“ Я считал, что это пошло, что сердечная сорочка все-таки дороже и нежнее кашмирской шали, что хирурги будут смеяться и возмущаться... Я дурак! Оказывается, многие хирурги действительно считают это хорошим сравнением. По-видимому, они считают кашмирскую шаль действительно... Что говорить! Кретин я!»)

Мишкин провел скальпелем вдоль грудины.

– Стернотом и шпатель.

Он взял грудинное долото, подsunул под грудину для защиты сердца металлическую дощечку шпателя и тремя ударами молотка раскрыл, как книгу, грудную клетку.

– Перикард, – шепнул он сам себе и проглотил то ли слюну, то ли еще что-то. – У-у-уз-ы-ы... – тоже шепотом и весь покрылся потом.

Может, это страх, банальный человеческий страх.

Галя спокойно продолжала дышать мешком, раздувая легкие.

– Уууу, – на вдохе. – Аааа, – на выдохе. – Ууааон у тебя дышит?!

– Дышит.

– Прекрати. Ты же видишь, мне это сейчас мешает. Прекрати дышать.

Галя на минутку остановила дыхание и наклонилась к сестре:

– Знаешь, Таня, он, по-моему...

– Перикард. Возьми на зажимы. Сейчас рассечем. Ножницы где? А, черт! Давай скальпелем. О-о-о-а! Сердце ранил! Отсос! Убери тряпки. Я заткнул пальцем. Шить давай. Шелк четвертый. Как он?

– Все хорошо.

– Хорошо. После зашьем. Держи ты здесь палец. Смотри, а сердце стало лучше биться. А ведь мы разгрузили правое сердце! Так же лучше! Давай зажимы сосудистые на вены. Нет. Вот эти – «бульдожки». Да, эти. Положил. Следи за ни-

ми, страхуй. Пережмешь, когда скажу. Зажим Сатипского. Вот этот лучше. Разрез делаю. Держалки дай прошить. Нет. С атравматическими иглами. – Опять тихое, длинное, вибрирующее «ы», потом – Хорошо, ребята, – это почти шепотом и громко дальше: – Пережимай вены! Снимаю Сатинского. Вот он, тромб!! На, сохрани, – это сестре сказал. Засунул обе руки в глубину грудной клетки, сдавил оба легких. – Вот еще тромбы! Опять кладу Сатинского. Зажал. Снимайте с вен. Открыли? Шелк четвертый – здесь на сердце двух швов хватит. Зашил... Теперь артерию. Не надо нитки. Я этой держалкой зашью... Все зашил. Сюда еще шовчик – подсачивает. Все! Зашил все. Перикард остался. Как он? Дышите как следует!

– Не кричите, Евгений Львович. Все хорошо. Дышим. Давление восстанавливается.

– Вы что-то очень спокойны, Галина Степановна... Давай, давай шелк зашивать. Сколько прошло от вскрытия грудной клетки?

– Пять минут до пуска кровотока.

– Это хорошо. Теперь можно не торопиться. – Мишкин замурлыкал любимую песню «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам и вода по асфальту рекой...».

Они медленно зашивали. Когда грудину сшили, Мишкин сказал, чтоб кожу зашивали сами, и вышел в предоперационную.

Галя передала дыхательный мешок сестре и вышла сле-

дом.

Он стоял красный, она рядом бледная. Больше никого не было. Он стукнул ее по плечу, обнял, прижал к себе.

– Неужели удача? Галенька!

– Ты совершенно неприлично рычал, как Отелло в провинциальном театре прошлого века, и вечно эта детская песенка.

– Дура ты. Это же впервые. Теперь отходить его. Что ты льешь?

– Не вмешивайтесь не в свое дело, Евгений Львович. Что надо, то и льем.

– Гормоны делала?

– Я потом все напишу и распишу, что делала и что надо делать дальше.

Он скинул на пол халат, фартук, перчатки в раковину и пошел. Галя за ним.

В ординаторской он взял со стола булку, влез в холодильник и стал пить молоко прямо из пакета, надорвав только уголок.

– Ты же дежурных объешь. Им нечего есть будет.

– Пусть идут домой. Я останусь.

– Люди принесли поесть что-то, а ты!

– Отстань.

Она ушла в операционную.

Когда Онисов пришел в ординаторскую, Мишкин сидел в кресле и рассматривал какой-то журнал.

– Как он?

– Нормально. Ну, ты уникам, Женька.

– Ты смотри. Карикатурка. Жених и невеста. Оба длинноволосые, оба в очках, оба в брюках. Он, карикатурист, не поймет, кто из них кто. Вот что значит смотреть на форму, а не на существо. Вот детям также надо одеть людей по-разному, чтобы они могли знать, кто мальчик, а кто девочка. Даже если голые, а?! – Мишкин неестественно громко захохотал, что было ему несвойственно.

– Нет, ты уникам, спасу нет! Все равно не выдержит же.

– Пошел вон, дурак. Уходи с дежурства к чертовой матери. Сам с ним буду.

Он опять ушел в операционную.

Днем на работе Галя рассказывала о мужниных доблестях. Все охали, ахали, расспрашивали и не очень верили. А может, и верили.

– И ты там всю ночь была?

– Ушла в семь купить им что-нибудь поесть.

– А чего ж вы оставались, когда все сделано?

– А он не уходит. Я ему тоже говорила. Все расписала, что, как, и когда, и почему, и зачем лить. А он не уходит. Он как нависнет над больным своим телом громадным... И они у него выздоравливают, по-моему, не от лекарства, а от тела, его тела, от тепла его тела.

– А знаешь! Может, он и прав.

– Так ведь выздоравливают не только у него. Мне-то ка-

ково!

– Такую операцию сделать! Ох, и везет вам, Галочка. А что, им есть не дают, что ли? Зачем им покупать ходили?

– Закона-то нет кормить дежурных, да чтоб как надо кормить. Поэтому где кормят, а где и нет.

– Одно дело дежурные, а другое дело – энтузиаст и патриот остался.

– Какое это имеет отношение к финансовым порядкам и к финансовой дисциплине? Надо позвонить ему.

– Женья! Ну как? Ну ладно. Иди домой. Ну, там же дом все-таки – сын, собака. А вечером опять приедешь. Ну ладно. Еда есть в холодильнике. Подогрей только.

Галя повесила трубку, подошла к зеркалу, поправила прическу.

– Не подогреет ведь, будет есть холодное, я его знаю.

ЗАПИСЬ ТРЕТЬЯ

Восемь часов утра.

В большом кабинете главного врача по стенкам на стульях и креслах сидят дежурные, заведующие отделениями, заместители главного врача. Эта административная Пятиминутка должна закончиться к половине девятого, когда приходят все врачи и начинаются пятиминутки в отделениях.

Марина Васильевна. Давайте ваша сводки.

Дежурные сдают сводки движения больных. Главный врач подсчитывает, сверяет цифры с данными кухни и затем подписывает ведомость на питание больных.

Марина Васильевна. Так. Начинаем. Терапия.

Дежурный терапевт рассказывает, сколько больных было, сколько выписалось, сколько поступило, сколько состоит сейчас, кто тяжелый и были или нет нарушения труддисциплины.

Дежурный хирург рассказывает по такой же схеме и, кроме того, какие были операции за сутки и каково состояние послеоперационных больных.

Марина Васильевна. Сегодня к нам много всяких указаний поступило, и нам надо много сделать всего, много решить. Во-первых, вновь создан Освод, нам надо...

Мишкин. Что это – Освод?

Марина Васильевна. Общество спасения на водах. Ко-

гда-то это уже было, потом ликвидировали, теперь опять есть решение создать его. Значит, нам надо создать его, то есть выбрать уполномоченного в это общество и собрать взносы у всех в больнице. Какие будут предложения? Кого мы задействуем в уполномоченные общества?

Зам по административно-хозяйственной части, как говорится, в дальнейшем именуемый Зам по АХЧ, вносит рацпредложение:

– Это мы после решим, а сейчас надо взносы собирать.

Марина Васильевна. Это мы в день зарплаты соберем. Посадим человека у кассы – сразу и отберет у всех. Еще нам надо подписаться на журнал «За рулем», – она засмеялась, и все засмеялись. – Ну ладно смеяться-то, подписываться все равно надо – разнарядка.

Дежурный хирург. У нас опять была катастрофа с бельем. Белья не хватило. Пришлось девочкам после операций заниматься автоклавированием.

Марина Васильевна. Евгений Львович! Почему вы не можете организовать эту службу в отделении на спецуровне? Кто виноват?

Мишкин. Да что вы как с луны свалились! Кто виноват! У нас больные при прохождении стацлечения по линии обслуживания бельем не на спецуровне не в результате нарушений труддисциплины, а в результате рацпредложений и централизации, если угодно, Марина Васильевна. Кто виноват! Вот именно! Сначала объединили лабораторию в районную, по-

том бухгалтерия стала районная. Теперь прачечная централизованная районная берет и дает белье раз в неделю. Будто не знаете.

Марина Васильевна. Это ерунда, несмотря на всю вашу иронию. Значит, надо на складе взять больше белья. Чтобы был запас. Что у нас, белья нет?!

Мишкин. Легкое дело взять! Значит, на старшую сестру еще больше материальной ответственности за матценности ляжет. Ей что, больше делать нечего? Да и вообще – неделя. Понимаете, наше белье лежит неделю, ждет очереди в прачечную. Оно ж гниет – в гною, в крови, в кале, – уж не знаю, как это все назвать на птичьем сокращенном языке.

Марина Васильевна. А нельзя с ними договориться, чтобы чаще меняли?

Зам по АХЧ. Централизованная прачечная не может чаще, учреждений очень много у нее.

Мишкин. Когда была наша больничная прачечная – проблем этих не было. А сейчас даже помещение бывшей прачечной пропадает, пустует. И все ради этих идолов – централизации да экономии. Надо ж знать, где можно! Было белье – кому это мешало?! Улучшается все не от экономии, а от прибылей. Вы на медицине не экономьте.

Марина Васильевна. Ну ладно шуметь. Тут же мы сами не можем ничего изменить, – значит, надо делать то, что мы можем. Думать надо, как помочь делу. Вас мы, Евгений Львович, обяжем взять достаточное количество белья на складе,

и чтоб перебоев не было. Вот так. Ты уж, Жень, совсем распустился.

Мишкин. Я?! Вы вот мне скажите, что делать мне с послеоперационной палатой. Ведь нехорошо получается. Я туда должен дать лучших сестер – надежнее. Так?

Марина Васильевна. Естественно.

Мишкин. В этой палате не присядешь иногда и за целые сутки. А на постах они ночью семьдесят процентов времени сидят за столом, а то и спят.

Марина Васильевна. Так что они хотят?

Мишкин. Хотят, чтоб по очереди все были в этой палате. А я не могу любого в эту палату поставить. И так самому приходится торчать там все свободное время.

Марина Васильевна. Вот и неправильно, что сами там торчите. Это вы плохой организатор.

Мишкин. Конечно, плохой. Но что делать! Жизнь-то послеоперационных дороже моих организаторских способностей. Мне бы хоть хирургом стать, а тут еще организатором надо быть.

Марина Васильевна. Воспитывать надо персонал. Должны понимать необходимость.

Мишкин. Ну ладно, ладно! Хватит подменивать обучение и нормальные условия мифическим воспитанием. Они правильно говорят: «Чем становишься лучше, тем тяжелее тебе работа, а деньги те же. Лучше мы будем посредственными сестрами на легкой работе и с теми же деньгами». Правиль-

но же говорят.

Марина Васильевна. Если заведующий так думает, о каком же воспитании может идти речь!

Мишкин. Опять воспитание! Дайте сестрам в этой палате хотя бы четверть ставки лишние – всего-то двадцать рублей. Ну, десятую часть – должен быть материальный стимул.

Марина Васильевна. Надо учиться морально стимулировать, Мишкин. Ох, и надоел ты мне! Есть благодарности, грамоты, Доска почета, стенная газета, наконец!

Мишкин. Нет. За работу надо просто платить. У-платить! Чем больше наград, тем меньше потребность руководствоваться банальными внутренними нравственными устоями. Не для награды, а по велению нравственного долга. А за нормальную работу – нормальную оплату. Это же медицина. Там награда – а здесь-то жизнь.

Татьяна Васильевна. Вы же, Евгений Львович, никогда не обращались к нам в местком. Мы бы включились, помогли.

Мишкин. А что вы можете? Вы можете им денег прибавить?

Татьяна Васильевна. Прибавьте им смену. Пусть будет чуть больше часов – тогда можно оплатить.

Мишкин. Больше суток?

Татьяна Васильевна. Нет, это охрана труда не позволит.

Мишкин. Приписать, может, часы?

Татьяна Васильевна. Что вы говорите. Обманывать нельзя.

Мишкин. Если бы нам разрешили в ведомости проставлять больше действительно проработанных часов...

Марина Васильевна. Ну ладно городить, Жень. Понимаешь, что городишь?

Мишкин. Вот увидите, у меня, в конце концов, катастрофа будет с сестрами в послеоперационной палате. Ну, хорошо, если уж пошел такой разговор: а почему мне нельзя дежурным ставить больше чем на две ставки в месяц?

Марина Васильевна. Не могу разрешить. Охрана труда не позволит. Профсоюзы на страже интересов и здоровья трудящихся.

Мишкин. Но у меня некому дежурить. Врачей нет. Они все равно дежурят, а вы вычеркиваете проработанные часы. Какая ж тут защита здоровья! У меня хирург с анестезиологом трое суток почти не отходили от Крылова. Хотели им оплатить как-то – опять профсоюз не разрешает. Крылова-то выходили. Какого больного!

Марина Васильевна. Ну что ты, Мишкин, гоношишься, как ты говоришь? Что можем, то делаем, а выше существующих инструкций не прыгнешь. Нельзя. Я не хочу рисковать. Читал в газете фельетон «Волшебница»? Главный врач вот так делала: давала людям заработать, писала фиктивные часы, чтоб оплатить вот такие трехсуточные отсидки. Строителям там тоже чего-то дописывала. Работа шла хорошо. В твоём понимании, обычные вещи делала, что ты просишь. Там она из дежурств обеденные часы не вычитывала...

Мишкин. Какие ж перерывы на дежурстве. Что-нибудь сожрем на ходу, что из дому принесем. Вы ж и еды дежурным не даете.

Марина Васильевна. Вот-вот, а надо вычитывать обеденные часы.

Мишкин. А вы вычитываете?

Марина Васильевна. Из каждого дежурства, по полчаса в середине и в конце.

Мишкин смеется.

Марина Васильевна. Ладно зубоскалить. Так этого главного врача судили. Правда, она и себе приписывала за время работы на строительстве. Она с ними все время работала. По вечерам, что ли. Строители были довольны – говорят, здорово она помогла им, вернее, больнице. Так профсоюзы предъявили свой счет по поводу несоблюдения в больнице на дежурствах обеденных перерывов. Много чего там написано из твоих, так сказать, предложений.

Татьяна Васильевна. И чем кончилось?

Марина Васильевна. Чем! Получила год условно, с запрещением в течение какого-то времени работать администратором. Почитай, Мишкин, почитай. У меня газета есть. Может, поумнеешь. Ну, и хватит об этом. Что можно сделать – делаем, а что нельзя... Сколько времени мы из-за тебя сегодня потеряли. А у нас еще дело есть. Пришел приказ из горздрава. Нам надо включаться в работу. Прочтите приказ, Семен Аркадьевич.

Семен Аркадьевич (зам по АХЧ вынимает бумагу, надевает очки). Нам этот приказ велено проработать и начать выполнять: «Приказ по Горздравотделу „О проведении месячника по завершению подготовки к зиме лечебно-профилактических учреждений“. В целях завершения подготовки зданий и сооружений к зиме ПРИКАЗЫВАЮ: заведующим райздравами, главврачам лечпрофучреждений, руководителям хозорганizations совместно с партийными, профсоюзными и комсомольскими организациями: а) провести в период общегородского месячника субботники и воскресники в лечпрофучреждениях; б) провести массово разъяснительную и оргработу в коллективах работников здравоохранения по привлечению к активному участию в общегородском месячнике; в) разработать и утвердить конкретные оргмероприятия по завершению подготовки лечучреждений к зиме, сосредоточив основное внимание на следующих вопросах: устранение недостатков в системе отопления, котельных, центральных тепловых пунктах водопровода, теплотрассе; ремонт крыш, водосточных труб, подъездов, остекление и оклейка оконных переплетов, утепление лестничных клеток, проверка работы вентиляционных систем, состояние средств пожаротушения, исправность водопровода, электрическо лифтового хозяйства, электрооборудования, проверка работ очистительных сооружений, проведение работ по очистке подвальных и чердачных помещений от мусора и неустановленного оборудования, по благо-

устройству территории, ликвидации мест разрытий и разработки строений, подлежащих сносу, озеленению скверов, садов и парковых зон; г) создать для организации и руководства проведения месячника постоянные штабы в количестве 3–5 человек. Обязать штабы обеспечить ежедневный учет выполненных работ, составление отчетов за неделю и представление этих отчетов в Горздравотдел». Ну и дальше подписи.

Марина Васильевна. Ясно? Все должны у себя в отделениях этим заняться.

Татьяна Васильевна. Да и местком в это включится. Мы выделим в штаб своего человека.

Мишкин. Как говорили древние индийцы: «Лучше не делай своего дела, чем делать чужие». Я пошел работать. У нас тяжелый кризис времени.

Марина Васильевна. Все пойдут работать, а ты останься на минутку, у меня дело к тебе.

Все ушли. Мишкин уселся в кресло поудобнее.

– Ругать будете?

– Да что тебя ругать. Я привыкла. Но я хочу тебя предупредить, что ты сходишь с катушек и я тебя защитить не смогу. Еще когда помоложе была, может, и смогла бы защитить. А эта месткомовская дива все твои взбрыки, всхлипы и разговоры по району ходит и так разносит, что предстаешь ты перед людьми совсем в другом свете. Ты как несносный ребенок. И меня подводишь. Если что можно сделать для тво-

их сестер и врачей, давай сядем подумаем вдвоем. Нет, тебе надо на трибуну влезть и устроить митинг. Ну что я могу тебе при всех сказать! А сейчас начни подготовку к субботнику. И я без тебя знаю, что хирургам не место ни на картошке, ни на другой подобной работе. Но надо, – значит, будем.

В дверь ворвалась анестезиологическая сестра.

– Ты не видишь, что мы заняты? Куда ж ты идешь?

– Извините, Марина Васильевна, я к Евгению Львовичу.

– Так сказать, товарищ майор, разрешите обратиться к товарищу капитану. Ну, валяй, обращайся. Поговорить не дают.

– Евгений Львович, кислорода нет. Не можем к наркозу готовить.

– Ну, вот видите. Где наш Семен Аркадьевич! Хоть бы это он сделал до утепленного месячника.

– Это дело не его. Он просто за этим следит.

– Кроме службы слежения должна быть служба кислородоношения. Средства пожаротушения – его дело?! Каждое утро я таскаю баллоны с кислородом, подключаю их. Хорошо, что я не индеец и могу спокойно делать чужое дело, в отличие от индийца Семена. А если б заведующий отделением был у вас баба...

– У меня нет, не может такого быть, – Марина Васильевна радостно засмеялась.

– А мне не смешно. Ну, скажем, если б я был бы, как Пушкин, ста пятидесяти четырех сантиметров от уровня моря?

– Это тоже исключено. Что не Пушкин – то не Пушкин. Иди, Мишкин, не грехи, подключай свои кислороды. Когда я от тебя избавлюсь?!

Мишкин пошел на улицу, подключил к системе два баллона с кислородом, заглянул в послеоперационную палату и лишь после этого, уже в десятом часу, появился в ординаторской.

– Ну, начнем?

– Да мы уж доложились без вас, Евгений Львович. Ведь операцию пора начинать.

– Ладно, но только я вот хотел обсудить больного, который сегодня на операцию идет. Доложите, Наталья Максимовна.

Наталья Максимовна. Больной пятидесяти четырех лет. Почувствовал себя плохо около двух месяцев назад. Появились слабость, недомогание, неопределенные боли, на которые он вначале не обращал внимания. Около недели назад появилась желтуха. Поступил к нам с диагнозом «Механическая желтуха». Обследование никаких особенностей не выявило, кроме повышенного билирубина и ускоренного РОЭ.

Онисов. А рентген желчных путей делали? Что он показывает?

Мишкин. Ох, Онисов, Онисов. Сколько тебя учить надо? При желтухе ты не получишь на снимке желчных путей, не будут они контрастироваться. Тут желтуха, и надо просто рассуждать: что это за желтуха. Для операции ли она? Не гепатит ли? Раз «механическая», значит, для операции. Это не

гепатит, по-видимому, — два месяца человек болен. Функциональные пробы печени — тоже хорошие. Стало быть, на цирроз тоже мало шансов. Приступов сильных не было, — значит, камень маловероятен. Скорее всего, опухоль. Правда, желчный пузырь не увеличен. Скорее всего, это опухоль поджелудочной железы, головки ее. Короче, операция необходима, и она все уточнит до конца. Возможно, предстоит большая операция — резекция поджелудочной железы и желудка с двенадцатиперстной кишкой. Противопоказаний к операции нет.

Илющенко. Значит, если радикальная, — это панкреатодуоденальная резекция?

Мишкин. Да, наверное. Но, может быть, и тотальное удаление железы.

Илющенко. А можно разве?

Мишкин. Вы у нас недавно. Вообще это вроде бы раньше и не делали. Считалось, что больной не выдержит отсутствия железы и умрет от диабета. Хотя есть отдельные обнадеживающие сообщения. У нас есть три наблюдения. Одну больную мы наблюдаем уже около четырех лет. Да и технически она, пожалуй, легче резекции. Не надо соединять культю железы с кишкой. Ну ладно, анестезиологическая служба, берите больного и начинайте наркоз. Сегодня тяжелая работа. Крови достаточно заготовлено? Мне кажется, что здесь, безусловно, рак, и, по-моему, будет вполне операбельный. Игорь, дай закурить, пожалуйста.

Онисов. Нет, ты уникам. Ты думаешь делать радикальную операцию?!

Мишкин. Если удастся – конечно.

Онисов. Эта операция больше чем в половине случаев кончается смертью. И мужик неприятный. Бандит. Несколько раз сидел за воровство и бандитизм. До этого сам работал в охране, убил кого-то, за что и сел первый раз. Нигде не работает. Сейчас в отделении со всеми скандалит, и с больными, и с сестрами. Родственники к нему почти не ходят, а когда придут, тоже переругаются и с сестрами и с лечащим врачом. Зачем тебе надо! Нет, ты уникам!

Мишкин. У тебя «уникам» звучит как «идиот». Но если так, то уникам ты, безнравственное чучело. Подумай, что ты говоришь! Он больной! Каждый должен заниматься своим делом. А ты все время решаешь проблемы его и его родственников. Не всякий человек достоин уважения – но сострадания всякий. Он больной. Это ж элементарно. Ты похож на муравья, к которому приходит стрекоза и просит есть, с голоду подыхает. А он ей: «Ты все пела, так поди же попляши». Откуда ты такой на мою голову? Уникам. Уникам нравственных начал. Да я кого угодно буду лечить. Даже преступника, а потом пусть его судят те, кто призван на это дело. Никогда ты не станешь врачом. Певец линча – вот ты кто. Иди лучше оперируй, занимайся только своим делом.

– Евгений Львович, мыться.

– Пойдем, Илющенко. Переодевайся и пошли.

Игорь пошел за шкаф, где за простыней обычно переодевались врачи. А Мишкин пошел в свой кабинет, где переодевался вчера, У него нет определенного места. Где застанет его судьба, там и снимет халат. Может быть ординаторская, а может быть и его кабинет – какая разница!

Когда Мишкин пришел в операционную, больной уже спал, Он подошел, посмотрел на лицо. Лицо как лицо. Татуировка на руках, на ногах. Живот чистый – по татуировке резать не придется. На груди выколот знакомый двупрофильный рисунок. Бог юности нашей – и здесь не придется резать. А то еще проснется; и пришьет статью. Короче, операция началась и приблизительно часов через пять закончилась.

Как говорится, вышел он из операционной усталый, но довольный.

Онисов. Ну, сделал радикально?

Мишкин. Удалось. Опухоль занимала только ткань головки. Тело не затронуто. Метастазов тоже не было. Резекцию панкреатодуоденальную сделал.

Онисов. Знаю. Подходил. Вот только выживет ли?

Мишкин. Следить надо. Пойду посмотрю. В операционной больной лежал по-прежнему с трубкой в горле, по-прежнему продолжалось искусственное дыхание.

– Что, не раздышится никак?

– Плохо что-то, Евгений Львович.

Мишкин взял трубку и стал слушать легкие. Долго слу-

шал:

– Справа в нижних отделах плохо прослушивается. Ослабленное дыхание. А попробуйте снять спонтанное дыхание. Переведите на насильственную, искусственную вентиляцию легких.

– Уже пробовали.

– Еще раз. Влажный он. Плохо с дыханием.

– Угу. Да и давление поднимается. Кислородная недостаточность.

Евгений Львович посмотрел на плечо. Из-под манжетки аппарата для измерения давления вылезал могильный холм и надпись: «Не забуду мать родную».

– Ну, давайте, еще раз попробую. Валя, сделай еще листенон. Сестра ввела что-то в вену из шприца, который лежал на столике уже заполненным.

– Дыхание прекратилось. Начинаю вентилировать. А вы послушайте, Евгений Львович.

Мишкин стал слушать.

– Нет, все равно справа в нижних отделах плохо слышно. Давайте полчаса подышим за него, потом посмотрим. Наверное, ателектаз все же справа. Вся доля не дышит. А вы отсасали из легких?

– Конечно.

– Может, еще раз?

– Мы несколько раз уже отсасывали. Последний раз перед самым вашим приходом.

Мишкин опять вышел из операционной.

– Евгений Львович, вас главный врач вызывает.

– Вот черт! Ну что еще там! Пошел.

– Ну, что случилось? Мой рабочий день кончился.

– Нет, милый, до конца рабочего дня еще три минуты. Тут другое, Женя. Тебя вызывают в райздрав на совещание.

– Когда?

– Сейчас. Еще утром звонили, но ты был в операционной.

– Да ну их к черту. Мне некогда.

– Я им сказала, что ты на большой операции и, наверное, не успеешь, но они очень просили. По поводу нашей открывающейся поликлиники, ты им, как районный хирург, очень нужен.

– Да что я там! Зачем? Сделали – и пусть радуются.

– Там вопрос – можно ли в этой поликлинике открыть районный травмопункт.

– Все равно решат, как захотят.

– Да ты пойми и их положение. Им это решить на совещании надо с протоколом и в присутствии районного хирурга обязательно.

– Пусть напишут, что я был.

– А самоуважение? Да что ты ваньку ломаешь! Пойди.

– Не могу сейчас – больной тяжелый.

– Я тебе машину дам – делов-то на полчаса.

– Да что это за чертовня какая-то! На совещания никому не нужные гоняют, кислород бегать на улицу самому под-

ключать, дыхательной аппаратуры нет. Да что это за издевательство! В табор уйду. Буду цыган лечить и бродить с ними. Подсчитайте, сколько у нас совещаний, семинаров, занятий, школ, то кого-то мы должны учить, то по гражданской оброне, то по линии санитарной грамотности, то по черт знает чему! А у меня больной тяжелый на столе лежит.

– Женечка, не ори. Я ж предлагала вам составить график по отделениям. В этом месяце на все совещания ходит ваше отделение, например. В следующем месяце другое. И внутри отделения график по врачам. Ходить за всех, и за меня, и за завов, и замов.

– Вы же первая и пойдете на свое совещание.

– Ну ладно. Иди переодевайся и на машине туда и обратно. Мишкин вошел в операционную.

– Ну как?

– Так же.

– Сколько вы его еще собираетесь вентилировать?

– Часа полтора, наверное.

– Вера Сергеевна, я сейчас в райздрав минут на тридцать – и приеду. А вы пока вентилируйте. Хорошо?

Мишкин переодевается. Вошел Онисов:

– Тебе звонили из поликлиники. Илющенко сказал, что ты на операции и на прием не успеешь.

Мишкин махнул рукой, – мол, правильно.

Он ходил совмещать на консультативный прием в соседнюю поликлинику, где ему платили около трети ставки. К

его месячному бюджету, к его полутора ставкам в больнице, прибавка этих тридцати пяти рублей играла существенную роль. Но иногда, когда у него бывали длительные операции или тяжелые больные, он звонил и предупреждал, что на приеме не будет. Он был очень неудобен поликлинике, но это был Мишкин, в нем, конечно, были заинтересованы, а потому терпели.

Перед отъездом он договорился, чтобы через тридцать минут его вызвали с совещания в больницу и прислали за ним машину.

Прибыл он на совещание вовремя. Совещание началось с опозданием, и открыл его какой-то представитель районных властей и прежде всего, поздравил врачей района с подарком, который им сделали строители, построив новую поликлинику.

– Вам, товарищи доктора, все дается, лечите только. Строители вам построили, сделали вам прекрасный подарок.

Мишкин (с места). Двери только не закрываются, а в подвале течет.

Представитель районной власти. Это по дефектной ведомости все исправят – вы работайте, главное.

Мишкин уже собрался было сказать, что подарок это не им, врачам, а им, всему населению, живущему в этом районе. Он хотел сказать, что это экономия времени не врачам, а больным. Он еще подбирал большое количество слов, которые считал уместными в подобном случае, но к нему по-

дошли и сказали, что его срочно вызывают в больницу к тяжелому больному. Начальство милостиво согласилось на его уход, и, не дождавшись других сообщений о грядущих радостях врачей района, он уехал.

Легкое дышало плохо.

Мишкин вместе с Верой Сергеевной наложили трахеостомию, то есть сделали отверстие в трахее, и оставили больного на искусственном дыхании. Около все время были Вера Сергеевна, Наталья Максимовна и сам Мишкин. Около десяти часов вечера все, кто находился в эти часы в отделении, – дежурные и оставшиеся с больным – принимали участие в работе. Надо было дышать за больного. Автоматического дыхательного аппарата в больнице не было. Все по очереди становились в головы больного и дышали: сжимали и разжимали дыхательный мяч, от которого отходила резиновая гофрированная трубка к аппарату, а от него другая трубка шла к дыхательному горлу больного. Все работали по очереди.

Мишкин. Наташа, иди домой. С ребятами кто?

Наталья Максимовна. Кто! Свекровь и муж. Не пропадут.

Мишкин. Иди, иди. Нет, я вам скажу, что в отделении должны работать мужики. Ну, иди, говорят. Хорошо, у вас нет детей, Вера Сергеевна.

Вера Сергеевна. Чего ж хорошего?

Мишкин. Да а. И вы идите, Вера Сергеевна. Не бабское это дело – медицина.

(«Взяли сразу и столько пустили баб в медицину, – фило-

софствовал Мишкин, сжимая и отпуская мяч. – Это надо было постепенно. Потихоньку приучать жизнь к этому. Это как большую рану зашивать. Например, после удаления грудной железы. Хочется сразу наложить посредине швы. Сведешь края, а потом, думаешь, легко будет. Ан нет. Надо маленькими стежочками, прямо за краешки кожи, частенько частенько, постепенненько, медленно зашивать, тогда больше шансов, что зашьется ровненько, без натяжения, и заживет хорошо. А тут сразу – хоп! – и столько баб в медицину».)

Вера Сергеевна. По-моему, вы устали, Евгений Львович. Идите в ординаторскую отдохните, а мы покачаем.

Мишкин. Нет. У меня все в порядке. Идите домой. Не бабское это дело. И жизнь пройдет. Идите домой, рожайте детей лучше. А это что за жизнь: семь дней – сняты швы, семь дней – сняты швы, а тут вдруг и жизнь кончается. Идите домой, Вера Сергеевна, идите. Слушайте меня, не возражайте. Главное – это научиться слушать, а не прислушиваться и искать получше возражения. Слушать надо других, понять их стараться. Слушать надо друг друга и стараться понять друг друга. А без этого князь Мышкин – идиот, а Ставрогин – душа общества.

Мишкин явно устал – он болтает, а это у него первый признак. Конечно, устал.

– Евгений Львович, идите отдохните. Ведь операция-то какая большая.

– Вот потому-то и не иду отдыхать. Уйдете домой, вот то-

гда я посижу в ординаторской. А девочки покачают. А потом опять я. А потом дежурные. А потом и вы придете, и Наталья Максимовна придет.

Вера Сергеевна и Евгений Львович уходят в ординаторскую.

ЗАПИСЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Кабинет главного врача. У главного врача, моложавой блондинки, лицо сегодня злое. Рядом стоит женщина невыразительной внешности, описать которую я затрудняюсь. Волосы, может быть, серые. Лицо со всеми присущими ему предметами, и все эти предметы даже правильны по форме. Ничего не могу найти характерного в ее внешности. Женщина что-то горячо объясняет главному врачу. Послушаем:

– Марина Васильевна, но он же опять сегодня не пришел на утреннюю конференцию. Так же нельзя.

– Вы, Татьяна Васильевна, хоть и председатель месткома, но должны понимать, что Мишкину я это простить могу. Он здесь и днем и ночью, его вызывают когда угодно. Он не отходит от больных сутками. Он делает операции, которые делают честь нашей больнице. И если мы дисциплину требуем от кого угодно, от себя в том числе, то Мишкину мы это можем и должны прощать.

– Но ведь остальные видят. Каков пример!

– Почему пример обязательно его опоздания, а не его великолепная и самоотверженная работа. Если бы все работали, как он, я согласилась бы и на некоторый подрыв нашей дисциплины и порядка.

– Как хотите, Марина Васильевна, но я считаю своим долгом, как предместкома, вам это сказать. В конце концов, мы,

общественные организации, должны тоже следить и поддерживать труддисциплину. У нас порядок не для отдельных гениев, а для всех, и у всех должны быть условия для проявления своей гениальности. Всем одинаково.

– Всем все одинаково серо, и в работе и в дисциплине. Так? Ну, хорошо, спасибо, Татьяна Васильевна. Я учту. У вас есть еще что ко мне? Нет? Тогда давайте начинать работу.

Стертая женщина вышла. Марина Васильевна кинула ручку на стол и со злостью схватила телефонную трубку.

– Кто?.. Мишкин в отделении?.. Срочно ко мне.

Марина Васильевна стала что-то писать, временами откидывая костяшки на счетах.

Стук в дверь. Дверь открывается, и где-то у притолоки повисает голова Мишкина. Он улыбается:

– Здравствуйте. Ругать будете.

– А ты думал. До каких пор это будет продолжаться?! Почему одни и те же разговоры длятся столько времени уже?

– Марина Васильевна, да я только ночью ушел отсюда.

– А я вам говорила уже, что время вашего ухода – ваше личное дело и вашей совести. Хоть вообще не уходите. Но ничто не снимает с вас обязанности приходить на работу вовремя. И никто вам не позволит манкировать утренней конференцией.

– Сашку накормить надо? Надо. Собаку прогулять надо? Надо. А Галя на дежурстве.

– Ох, Мишкин, Мишкин! Вот тут ты мне уже, – показала,

где он у нее – в области шеи, так сказать. – Когда ж ты станешь человеком?

– Каким еще человеком? Вот как эти ваши со стертыми лицами, разговаривающие на птичьем языке: стацлечение, труддисциплина, статкарта, задействовать... Нет уж, Марина Васильевна...

– Ну ладно. Надоел ты мне. Как больной?

– Вы знаете, получше. Положительная динамика. Уже появились шансы. Но я вам скажу, Марина Васильевна, так дальше невозможно. Уже четвертый день все отделение по очереди качает мешок. Все уже без сил.

– Что ты мне это говоришь каждый раз! Ну нет у меня возможности помочь вам. Каждый день, что ли, звонить туда надо?

– Конечно. А вы когда последний раз звонили? Ну, позвоните сейчас.

– Пожалуйста. – Снимает трубку, набирает телефон. – Адам Адамыч? Здравствуйте, дорогой. Как живете-можете? Что нам кинете ценного?.. Как ничего нет? Ну уж бросьте... Адам Адамыч, хирурги у меня уж просто падают... Да. Опять насчет РО. Нельзя работать при сегодняшнем уровне медицины без дыхательных автоматических аппаратов... Да как это можно потерпеть! Четыре дня назад они сделали большую операцию – резекцию поджелудочной железы. Вы понимаете, Адамыч, что это за операция?! И после операции начались неполадки с легкими. Они перевели больно-

го на искусственное дыхание и вот уже четвертый день дышат за него руками. Руками четвертый день! Все отделение занято. Все по очереди: сестры, врачи. И Мишкин, конечно, уродуется со всеми... Как, как?.. Не могут же они прекратить, если есть хоть маленький шанс спасти. Вдруг удастся спасти. Кстати, это им, кажется, удастся. Тьфу, тьфу, не сглазить бы. Ты подумай, Адамыч, каково это руками, без передышки, а? Может, можно все-таки достать дыхательный аппарат? Ведь это какой раз уже все отделение отключается на качание мешком. Да брось ты мне рассказывать, что там будет в следующем десятилетии. Людям-то помощь нужна сейчас... Да вот так! В отделении срывается вся работа, срывается график операций, удлиняется койко-день. За это тоже по головке не гладят в отечественном здравоохранении... А что Мишкин, с ним-то ничего не станется, мы, в конце концов, не о его личной усталости говорим или о нарушенном здоровье его, тут наша «охрана труда» молчит. А вот дело, Адамыч, дело страдает... Поезжай в центр, стучи кулаком, если взятку надо – дадим с удовольствием, в ресторан с кем-нибудь пойти надо – пойдем... Ну новый, когда это будет! Конец года хоть и не за горами, а все ж думать надо о сегодняшних больных и сегодняшних врачах... Кому ехать? Мишкину? Как районному хирургу? А с кем?.. Догово-рились, Адамыч. Так я тебя прошу.

– Ну вот, Женя. Что из этого получится, неясно пока. Тебе надо ехать насчет оборудования нового корпуса.

– Да что это за дело для хирурга – заниматься оборудованием!

– Господи! Ну, давай все сначала. Ты хочешь, чтобы у тебя в новом корпусе были твои дыхательные аппараты? Если хочешь, тебе сегодня надо ехать.

– Да у меня больные.

– Когда ты уже уйдешь на пенсию? Или я. Ну не могу я больше с тобой. А ты еще и сына родил. Будет такой же. Сумасшедшим нельзя заводить детей.

Они засмеялись, но Евгений Львович вдруг смех оборвал и посерьезнел.

– А почему, собственно, сумасшедшим нельзя рожать? Это еще вопрос. Ведь, в конце концов, мир меняется и улучшается, в том числе благодаря сумасшедшим. Только они ведь могут выйти за рамки известного, обычного, безопасного.

– Иди ты к черту.

– Нет, действительно, ведь безумие – это, в конце концов, выход за рамки безопасности.

– Слушай, иди, иди, не морочь мне голову. Мне еще вон табеля на зарплату проверять надо. Считать тут не пересчитывать.

– Каждый занимается не своим делом. Отдайте бухгалтеру. Не доверяете небось – будете наказаны.

– Ты что?! С луны свалился?! Не знаешь, что ли, что бухгалтерию нам уже год как ликвидировали.

– Как, всю разве?

– Как это всю? Половину, что ли? Ну, мудрец ты, парень.

– Я думал, зарплату только централизованно дают, а бухгалтера все-таки оставили.

– Это ж надо! Как будто не работаешь здесь. Иди, Мишкин, иди. Не доводи до греха.

– Действительно, Марина Васильевна, а как все счета, кто все это делает?

– Кто, кто!! Я. Зам по АХЧ. Аптекарь. Старшая сестра. Диетсестра. Все делают, и все делают плохо, неквалифицированно. Поэтому и проверяю все сама, сижу считаю. Не потому, что лучше их, а просто еще одна проверка, чтобы не ошибиться.

– И так по всему району? И больницы и поликлиники?

– Вот именно. И ясли.

– А зачем?

– Централизованно чтоб все было. Экономия на штате, на аппарате.

– И что ж, стало лучше?

– Наверное, лучше. Теперь у них машина есть электронно-счетная, сосчитает им. Ошибок не должно быть. А разве одна больница может нанять ЭВМ?

– Как единоличник, который не может нанять комбайн. – Мишкин радостно засмеялся.

– Чего смеешься? Чего обрадовался?

– Да так. А сколько медицинских учреждений в районе?

– Двадцать одно.

– И в каждом бухгалтер был?

– И кассир. Иди, дай мне посчитать. Не успею.

– Но мне надо иметь хотя бы представление об этом, раз вы посылаете меня за оборудованием.

– Ну, хорошо. Что ты еще хочешь знать?

– Так сколько сейчас человек работает в централизованной бухгалтерии?

– Сорок семь, и отвяжись.

– А было сорок два? Какая же экономия!

– За счет машины получается какая-то экономия. Может быть, за счет уменьшения ошибок. Ты уйдешь, наконец?

В дверь постучали:

– Мишкина нет здесь?

– Я здесь.

– Вас срочно вызывают в рентгеновский кабинет.

– Господи! Наконец-то ты меня избавил от этого длинного выродка.

– Один раз за все время помешал. Вы ж всегда мной недовольны, по любому поводу.

– Ну и говорлив ты сегодня. У тебя ж тяжелые больные.

В рентгеновском кабинете травматолог Василий Николаевич пытается удержать у экрана пьяного. Тот все время заваливается.

– Евгений Львович, рентгенолога нет. Посмотри его под экраном. Нет ли воздуха и крови в плевральной полости. А

я его подержу пока.

– Давай. Да это ж наш дворник. Алле, милый, ну подержись немного. Вот черт, заблевал всего. И себя. Фу, нажрался как. Дайте мне полотенце. Хоть вытру его немного. Вот так. Ну, ставь его. И к темноте уже немного привык. Что, тяжелый? Удержишь?

– Удержу. С утра уже набираются.

– Вася, поедем со мной сегодня в контору насчет оборудования говорить.

– Поедем. Ну как, видно?

– Видно. Постой, постой. Куда вы оба делись?

– Сползает он. Ну, совсем не держится.

– Да у него вроде ничего нет. Брось его. Встань сам. У тебя что-то есть.

– Куда ж я его брошу?

– Куда хочешь. Пусть полежит на полу. Без тебя бы он лежал где угодно.

– Потом, Жень, посмотрим. Давай с ним закончим.

– Да он же шел на то, чтоб лежать где угодно. Я шучу. Я успел разглядеть – нет у него ничего. А вот у тебя что-то есть.

– Ну, смотри. Что там? Опухоль?

– Хватит шутить. Действительно, какая-то тень. Надо бы исследоваться.

– Опухоль, наверное, у меня, опухоль, Женья.

– Но маленькая, краевая, периферическая. Типа кисты.

– Ничего, Женья, сделаем операцию, и все будет в ажуре.

– Чего ты зубоскалишь? Сделай хотя бы кровь себе.

– Да ты не волнуйся. Это у меня с детства. Ранение было в детстве, в войну, а потом – вот такое заживление. Это рубец такой. Меня уже тысячу раз хватали с этим. А что с больным делать будем?

– А что хочешь. Обтереть немного надо, а потом протрезвеет маненько, тогда послушаем. Наверное, можно и домой отпустить будет. Передай его дежурным. Нам уже через два часа ехать надо.

Мишкин поднялся в послеоперационную палату. Около больного сидит девочка, сестра анестезист, и равномерно, раз так восемнадцать – двадцать в минуту, сжимает и отпускает мяч дыхательного аппарата.

– Давно сидишь так?

– Часа полтора.

– Ну и как он?

– Все хорошо, Евгений Львович.

– Хм. Хорошо. Устала, наверное?

– Немножко. Давно не меняли что-то.

– Сейчас я тебя сменю. – Он отключил аппарат. – Можешь перестать дышать сейчас.

– Я вижу, что сейчас можно перестать дышать.

– Вижу. Действительно устала. Да ты не обижайся. Давай отсосем из трахеи.

– Я не обижаюсь. С чего, на кого? Давайте отсосем.

Они накапали жидкость в отверстие трахеи. Затарахтел

мотор отсоса. Трубочкой стали отсасывать из трахеи.

– Смотри, сколько там всего. Каждые полчаса надо так делать. Сразу и легче должно стать. Ну как, легче сейчас? – почему-то почти на крике обратился он к больному.

Больной кивнул головой, вернее, шевельнул головой и верхними веками. Сказать ничего не может: трахеостомия – голосовые связки отключены.

Мишкин пощупал пульс, померил давление, снова подключил аппарат.

– Иди, занимайся своими делами. Я подышу.

Он сел и стал с той же периодичностью сжимать и отпускать мяч. Сестра стала что-то делать другим больным, лежащим в остальных боксах этой послеоперационной палаты. Потом он отпустил мяч и стал смотреть, как этот дыхательный мешок сам раздувается при выдохе и опадает при вдохе.

– Посмотри, Валя, самостоятельное дыхание у него сейчас и достаточно глубокое и не больше двадцати двух в минуту. Сейчас часик покачаем, а потом посмотрим – как он пойдет на самостоятельном дыхании. Если хорошо будет, то завтра, может, и трубку удалим. Но промывать надо, промывать надо регулярно и время от времени все равно навязывать свой ритм дыхания.

Валя, молча, налаживала кому-то капельницу.

Мишкин молча дышал за больного, о чем-то размышляя.

Сжал мешок – вдох; отпустил мешок – выдох. Сжал мешок – отпустил мешок. Сжал – отпустил. Вдох – выдох.

О чем он думал? Наверное, о том, какой он плохой заведующий, раз сидит сам и занимается этой работой, вместо того чтобы организовать послеоперационное отделение так, чтобы работники все занимались своими делами, а не чужими. Чтоб не заведующий сидел, качал мешок.

А может быть, он думал о том, что эта вот нудная механическая работа, несмотря на отсутствие автоматов, все-таки иногда помогает, и подчас удается спасти больного даже, казалось бы, в самых безнадежных случаях. «Они, наверное, сейчас смеются надо мной, – думал Мишкин, – говорят, наверное, что лечить надо методиками и лекарствами, а не теплом своего тела. Это Галка придумала про меня так говорить. Говорить или думать. И все равно без тепла нашего тела они не поправляются. Что бы там ни говорили, как бы там ни смеялись.

И совсем я не сокращаю себе жизнь. Это Галка таким образом проявляет беспокойство, формальное беспокойство жены, а сама-то ведь тоже так. Не бабское это дело. Вот Швейцер пятьдесят лет тратил тепло своего тела на прокаженных негров, а прожил аж девяносто лет. Хотя то же тепло, наверное, не меньше бы пригодилось и для больных европейцев.

А ведь все могло быть иначе у меня. Все могло пойти совсем по другому пути. И почти пошло, когда я работал в клинике, когда у меня начинался псориаз.

Как хорошо он поддается навязанному ритму».

– Как дела?

Больной как-то обнадеживающе сделал глазами и головой, по-видимому, хотел сказать тем самым, что хорошо идут дела, что, мол, поправляется он. И Мишкин снова стал думать про свое, про прежнее:

«Тогда, когда я работал в клинике и делал карьеру, почему-то меньше уходило тепла тела своего на таких вот больных. (А какие результаты были, он и не помнит. Хотя помнит, конечно.) Помню. Все помню. Надо бы позвонить Галке, пусть тоже с нами поедет. Я ведь ничего не понимаю в этих их анестезиологических, реанимационных, дыхательных аппаратах. Я вот во всем виню начальника своего, шефа. Ну не во всем, во многом. Но ведь что-то было и во мне самом. Внутри меня все это было. Не стоит мне о нем... Где-то, у Марка Аврелия, кажется, написано, что если ты на кого-то сердишься, представь себе этого человека мертвым, в гробу, и ты сразу простишь его. Вот именно. Хорошо, что я ушел оттуда. Хорошо, что вовремя это произошло. А ведь мог сидеть сегодня один и лелеять свой псориаз. Ничем бы не занимался, что люблю, а полюбил бы то, над чем смеялся. А я и смеялся. А наверное, не надо смеяться ни над чем, ничто, оказывается, в этом мире не смешно, и все имеет свое место и свою цену. Бог меня почти наказал за мой смех над тем, что я не понимал, как Бог наказывает всех, кто смеется над тем, что не понимает. Так Бог наказывает всех, кто смеется над чем-то, что кто-то вовсе не считает смешным.

Да, помню, шел я домой и думал, как в детстве думал, что, если бы на меня сейчас напали бандиты, жулики и потребовали у меня часы (кому сейчас нужны часы взамен бестрепетного существования? А может, именно чтобы иметь существование трепетное), как одному я бы дал по морде рукой, а другому бы дал в живот ногой, а от третьего бы и просто убежал и спас бы свои часы. И это беспредметное думание меня затягивало и засасывало, и ни один человек мне не встретился на этом странном моем пути, пока в этой черной темноте, почему-то в нашем районе, не попался мне шеф.

Шеф шел быстро, он был элегантен, и даже в этой темноте было видно, как светло улыбается он, наверное думая о чем-то хорошем, идя откуда-то от чего-то или от кого-то светлого.

Я не стал спрашивать, откуда он и почему он в моем районе: он шеф, начальник, и он всегда в моем районе.

— Проводи меня до такси. — Мы пошли, и я сбил его быстрый ход. — Ты чего идешь так медленно? О чем думаешь?

И я стал рассказывать, как я здесь шел, и никого вокруг не было, и как ко мне подошли трое, и как потребовали от меня часы, и как одному я дал по морде рукой, другому в живот ногой, а от третьего убежал, но не отдал свои часы. И мы посмеялись с шефом над тем, кому я дал в живот ногой, и над тем, у кого есть страх перед плохими людьми, и над людскими суевериями посмеялись заодно и договорились с ним, что нечего нам бояться, ибо знаем, чего мы хотим, к чему стремимся, и знаем, как нам чего добиться, и помним

всегда, что мы не подлецы.

А потом мы перешли к нашим делам в отделении и начали строить планы улучшения работы. Мы делали дела и принимали решения с уверенностью людей, творивших хорошее для создания еще лучшего, уверовавших в свою абсолютную правоту.

– Надо людей держать в руках. Очень распустились, – сказал он.

– Да, и более всех Кашин, – охотно поддержал я. – Беспорывно со своими рассуждениями лезет на всех конференциях. Может, он прав иногда бывает, но ведь дела то нет в результате. Получается сплошная говорильня, а порядка никакого.

– Ну, он-то у меня в руках. У него на руках экзема бывает. Ежели он дальше так будет, надо намекнуть ему, что можно и из отделения попросить человека, кожа на руках которого не соответствует светлому званию хирурга.

И мы посмеялись с шефом, вспомнив, как Кашин рассуждает и как он оперирует, и посмеялись над его корявыми руками как при движениях, так и на ощупь. Кашин действительно очень мешал нам работать.

– Вообще надо всех перетасовать немного. Батина предпочитает всегда уклоняться от операций – мы ее почаще будем ставить на крючки, пускай ассистирует. А Елкин слишком любит оперировать, и более того, он уже считает, что оперирует хорошо. У меня есть принцип: если ты знаешь

больше меня или столько же, значит, ты вырос и уходи на самостоятельную работу.

Я согласился.

– ...значит, Елкина мы подержим в палатах. Пусть поймет, что должен быть порядок, что анархии нельзя допускать в таком деле, как наше. В конце концов, мы имеем дело с живыми людьми, и разноголосицы у нас быть не может. Поймет, попросит, тогда мы ему и дадим снова нож в руки. А?! – и шеф похлопал меня по спине, и я уверенно с ним согласился. Зачем я с ним тогда соглашался!

Мы помолчали, закурили, пошли дальше.

– Женя, ты вчера на похоронах был? – шеф переключился на смерть одного профессора. Я уж сейчас не помню, кого именно хоронили, но отчетливо помню, что похороны были накануне нашей встречи. – Черт те что человек всю жизнь делал, чего-то добивался, интриговал, сплетничал, кого-то давил, кого-то отталкивал, всю жизнь провел в суете, никто его не любил, всем надоел, всем успел и сумел сделать плохо, может, лишь единицам сделал что-нибудь хорошее, а смотри какие похороны ему устроили. Лицемеры, гниль! Противно. А действительно, великолепная идея – прочел я недавно в какой-то книге: у одной женщины умер муж или кто-то близкий, она сожгла его, а пепел замешала в глину или в гипс, куда там полагается, и сделала бюст его. Вот и я хочу так. И пусть стоит дома. Или в отделении, на работе. Это будет справедливо! А?

И я сказал, что мне противно все связанное со смертью, похоронами, могилой, и я тоже хочу, чтобы меня сожгли, и поскольку ни смерти, ни похорон избежать невозможно, то хорошо бы хоть могилы избежать. Сжечь надо, а пепел рассыпать. Умереть и не занимать места. Чтобы дети или внуки мои не думали о могиле моей, не думали в годовщину, что надо ехать к папе, к бабушке. Они должны жить своей жизнью, пока живут.

Так, в таком веселом собеседовании, мы шли, пока я не посадил своего патрона в такси и пошел обратно на ту дорогу, где я мужественно хвалился ударами в живот ради спасения часов своих.

Наконец я дошел до дома и почему-то, в результате каких-то непредугаданных душевных движений, захотел принять душ.

На груди я обнаружил одну бляшку псориаза. Хотя я очень далек от знания и понимания кожных болезней, которые, конечно же самые трудные и непонятные во всей медицине, почти как душевные болезни, и даже имеют много общего с ними, но все же я помнил, что псориаз часто связывается с различными нервными и аллергическими моментами и еще с чем-то таким же малоопределенным, что лечить его трудно, а точнее, невозможно, что может он быть одиночными бляшками, может распространяться только на отдельные области, а может тотально распространяться по телу и даже уродовать суставы и что чаще всего это бывает на руках, по-

ниже локтей.

Я в ужасе посмотрел на руки. Они были чистые.

Единичные бляшки – ерунда. Не надо нервничать. Единичные бляшки могут сохраниться навсегда и не распространяться.

Про псориаз я узнал еще в школе. Мой товарищ показал однажды свои локти и рассказал про какого-то старика, который здорово лечит псориаз осадком дыма горячей газеты. Я это запомнил, потому что, во-первых, детская память охотно и легко загружается всяким бредом, и потом, меня поразила изощренность людская, додумавшаяся до такого странного лечения.

А потом много лет я не встречал и не слышал про эту болезнь. А уже в институте у меня был сокурсник, который каждый раз покрывался псориазическими бляшками, когда наступала экзаменационная сессия. А потом я видал этих больных, когда мы проходили кожные болезни. А теперь и у меня одна псориазическая бляшка.

Я, помню, рассматривал эту свою псориазическую бляшку и раздумывал, к чему она приведет меня. Пораздумав, я успокоился, потому что хоть псориаз и кожная болезнь, но вполне благородная и даже связана с нервными переживаниями, а на опасных местах у меня ничего нет, и, главное, у меня нет на руках, – значит, ничто не угрожает моей профессии, а дело превыше всего. А через несколько дней у меня произошло непредвиденное на работе. Большую опера-

цию, которую я делал первый раз в жизни, начальник мой почему-то назначил на понедельник тринадцатого числа. Я пошел к нему:

– Перенесите, пожалуйста, операцию Филиппова.

– Почему?

– Понедельник. Тринадцатое.

Шеф посмотрел на сидевших у него своих ближайших помощников и начал:

– Знаешь ли, дорогой мой, мы не можем ради блажи и чье-го-то идиотизма нарушать общий порядок. Я был во многих странах, видел отделения крупнейших хирургов мира, там действительно работают как надо, не то что у нас в больнице, и там шеф действительно хозяин отделения, но я нигде не видал, чтобы считались с подобной ерундой. Можно пойти многому навстречу, но нельзя ломать заведенный порядок. Операционное расписание – это святая святых нашего порядка, и путать его я не позволю. Я готов идти навстречу разным прихотям моих помощников, но все в меру. Я демонстрировал свои операции разным хирургам мира, но никогда не обращал внимания на подобную ерунду. Я понимаю, если бы ты сказал, что у тебя в этот день что-то, что заставляет тебя торопиться, например важное любовное свидание или день рождения. Но попустительствовать подобной ерунде – нет, этого не будет. Я соблюдаю общий порядок, и вы будьте добры. Приход должен быть, каков поп. Первое, с чем мы должны и будем бороться в нашей больнице, – это с ерундой

и нарушением заведенного порядка. Самое главное, чего мы должны добиться, — это неукоснительное соблюдение порядка...

И говорил, говорил, говорил... и закончил:

— ...состоится в назначенный день, и оперировать будешь ты. Все молчали, и я молчал.

День операции приближался.

У больного была резус-отрицательная кровь, а она не всегда бывает в запасе в достаточном количестве, я не тормозил особенно станцию переливания крови, в надежде, что достаточного количества к назначенному дню не будет. Я не торопился. Я не подгонял. Я не волновался. Я не доставал. В понедельник тринадцатого крови не было. Во вторник четырнадцатого ее привезли. Во вторник четырнадцатого я и делал эту операцию.

— Ты что ж думаешь! Я дурак! Я не понимаю, что ты нарочно все это сделал. Вы, Евгений Львович, нарушили расписание операций на всю неделю. Я никому не позволю нарушать мой порядок. Я могу и сам справиться с вами, но я не хочу. Пусть это решает собрание. Мне в глубокой степени плевать на собрание, я хозяин здесь, и окончательно я буду все решать, как и что с тобой делать, но сначала пусть вас покатают на собраниях. Интересно, что будешь ты говорить? О суевериях, да? Я на всю больницу подниму вас на смех. И не подумайте, пожалуйста, что сам я справиться не могу. Пусть я не настолько хозяин, как были братья Мейо, да я и

не могу, да и не хочу тебя выгонять, но глумиться над своим порядком не позволю. А за одного битого двух небитых дают.

И говорил, говорил, говорил, обращаясь не столько ко мне, сколько к своим присным, сидевшим вокруг на стульях, креслах, диване.

А потом, я помню, было собрание, посвященное трудовой дисциплине, и выступили все, сидевшие тогда на стульях, креслах, диване, и поносили меня за недостойное советского врача суеверие, сломавшее порядок операционного расписания.

А потом выволокли меня на трибуну и стали требовать объяснений. А наш патрон сидел, посмеивался, и подмигивал мне, и шепнул даже, что он мне покажет пользу порядка, и я знал, что после меня выступит он, и, что бы я ни сказал, он все с блеском опровергнет, потому что говорить он умел и любил.

Я и стал говорить, что не понимаю, о каких суевериях они говорят, просто не было нужной крови в достаточном количестве, что я также осуждаю суеверие у советского врача, и даже у английского или немецкого врача. Я осудил суеверия. Я сказал, что мы должны бороться с суевериями, которые чаще всего бывают у профессий, связанных со стихиями и смертями, как, например, у моряков, летчиков, шахтеров и хирургов, и их, суеверий, значительно меньше у чиновников, юристов, учителей, и что, где бы ни появились суеверия, мы,

советские люди, должны бороться против них, должны искать пути разумной борьбы со стихиями и смертями, что я тоже против всяких суеверий, но человеческая жизнь мне дороже.

Во время своей речи у двух сидящих в аудитории я заметил следы псориаза на лице, и мне стало легче.

Босс наш все понял во время моей речи и долго говорил про порядок и необходимость строгости при полном понимании настоящих просьб своих сотрудников, которые все должны стремиться попасть из категории «сотрудников» в категорию «помощников» его, и тогда все научатся очень многому, и он всем поможет, всех научит, все будут довольны, а кто не захочет, – то он никого не держит. Он равно как всех охотно берет на работу, так и охотно отпускает. Он понимает, что уйти от нас хотят только те, кто не любит по-настоящему хирургию, но поскольку работают в ней, то, по существу, являются объективно врагами нашего дела, простить им этого мы не можем, а должны стараться избавиться от них. Пусть, кто хочет, уходит. Уговаривать никого и ни в чем он не намерен. И если наша система здравоохранения не позволяет ему просто выгнать плохого работника, то ограничить его вредную деятельность он всегда в силах, хоть, возможно, этого и мало.

Когда после этого собрания я пришел домой, то обнаружил бляшки псориаза и на животе, и на голове. У меня очень маленькое зеркало, и мне очень неудобно рассматривать те-

ло свое и трудно искать, где у меня бляшки есть, а где их нет. Поэтому на следующий день я купил большое зеркало и приделал его к двери, и мне стало намного удобнее рассматривать себя.

Я стал обращать внимание на всех окружающих и у многих стал замечать следы псориаза. Либо я не замечал раньше, либо просто все больше и больше людей страдает этим недугом. А я очень боялся, что псориаз мой распространится на мои руки, и тогда я буду вынужден уйти из хирургии, а что я тогда буду делать, ведь хирургию я люблю очень, и все остальное мне кажется либо бездеятельным, либо ничтожным, либо гнусным... И я еще придумывал много определений для разных чужих дел.

Постепенно я настолько свыкся с мыслью – болезнь у меня благородная, нервная, что начал тщеславно рассказывать о моем псориазе всем окружающим, и когда все узнали про это, меня стали расспрашивать, а как руки, не помешает ли эта благородная болезнь моей деятельности. И коллеги мои по больнице тоже время от времени интересовались моими руками, и я всем гордо говорил о чистоте своих рук и о нервно благородной природе моего заболевания.

По вечерам же я раздевался и рассматривал в большом зеркале свое тело. Бляшки единичные были только на голове, груди, спине, животе и ногах. Ничего страшного.

И как раньше я не видел, сколько ходит людей со следами псориаза, а сколько людей почесывается! По мере прогрес-

сирования моей болезни, по мере моего собственного прогрессирования я стал замечать, что, пожалуй, больше половины окружающих меня людей почесывается. Наверное, сейчас стало много больных псориазом – или я действительно не замечал этого раньше.

Когда я обнаруживал у себя новые бляшки, начинал нервничать, и, к сожалению, иногда, особо расчесавшись, я говорил шефу о своем коллеге то, что лучше было бы ему не знать, что вызывало гнев его, а начальственный гнев, как правило, это известно всем, заканчивается какими-нибудь внутренними оргвыводами, которые затем вылезают наружу, и часто с неприятными последствиями не только для оговоренного, но и для всех вокруг.

Я начинал нервничать уже и от этого, и у меня появлялись новые бляшки, и я старался выгораживать перед самим собой свое право на то, что я уже сделал, вернее, что уже наделал. Я начинал думать о человеке, про которого что-то рассказал своему начальнику, и, в конце концов, понимал, что сказал я правильно, что человек этот действительно гад и вполне заслуживает тех оргвыводов, которые свалились на него. Мы ведь вообще очень часто начинаем хуже относиться, перестаем любить тех, кому сделали, или даже пришлось сделать, зло, и мне стало казаться, что и все мы заслуживаем всего того, что свалилось в результате и на нас.

И наконец я решил, что ничего лишнего мною не было сказано и не было сделано. Ведь я лично ничего не приобрел

и не получил, но порядка в отделении стало больше, и стал он лучше, и недалек тот день, когда значительно улучшится и наша диагностика, и лечение, и результаты операций.

Во всяком случае, сейчас мне кажется, что все было именно так, как я вспоминаю.

А сам я все чаще и чаще запирался в ванной и изучал свое тело и все больше и больше придавал ему значения. И всегда, когда я увлеченно этим занимался, мои исследования отвлекало капание воды из крана. Капание какой-то странной мелодией. Кап кап кап – разная тональность, разное ударение в каждом «капе». И я думал, когда отвлекался от своего тела, от своих бляшек, что так может капать все: вода, кровь, слезы, слюни, сопли. Я отвлеченно думал и радовался, что не капаю, мне казалось, что я не капаю, совершенно забывая про свои наветы, про распространение своего псориаза, забывая, после чего каждый раз появляются новые бляшки псориаза.

Странно, как самое хорошее трансформируется в самое плохое, в зависимости от самого, самого, что есть у человека внутри. Кроме хирургии я больше всего любил книги и общение с людьми. Я всегда старался уезжать с работы вместе с кем-нибудь. Мы ехали в метро и трепались. Я любил, чтобы люди приходили ко мне домой. Мы сидели подле моих книг и трепались. Чем больше времени я отдавал людям, тем больше времени мне не хватало для чтения. Я стал стараться уезжать с работы один, чтобы в метро спокойно почитать и

чтобы никто не мешал мне. Я стал привыкать к дороге без спутников. Когда ко мне приходили домой, часто уходили с какой-нибудь книгой – не подарок, а так, почитать. И не всегда книга возвращалась. Меня считали не жадным. Это из-за денег. А ведь жадность узнается по отношению к тому, что для тебя дорого, а не по тому, что для тебя ничто. А я постепенно все суживал круг приходящих ко мне людей, я начинал делить людей на могущих попросить у меня книгу и на никогда не просящих книг. Постепенно ко мне стали ходить лишь люди, которые были совершенно равнодушны к книгам, к слову, их больше интересовали заботы о своем теле.

Кажется, все было именно так. Я сейчас все откровенно вспоминаю.

Итак, я работал, я читал, я исследовал свое тело.

Так жизнь шла вперед. Во всяком случае, по-моему, так».

– Валя, давай еще раз его промоем. Промыли.

– Может, сменить вас, Евгений Львович?

– Нет. Я лучше посижу. Так никто и не зайдет из них.

– Да они знают, что вы здесь.

И снова сжимает – отпускает. Вдох – выдох. Вдох – выдох.

«И в результате всех этих философствований, усмешек, передряг и нервотрепки псориаз мой сильно ухудшился, и в основном на голове. Затылок мой был словно закован в гипс, и мысли не уходили дальше этой преграды.

О чем мне было говорить, когда я весь, и голова в особен-

ности, в путях этой болезни, ограничивающих живую мысль.

И лишь во время операции я отвлекался и целиком уходил в жизнь. От этого я еще больше привязывался к хирургии. Она мне стала необходима, она для меня стала воздухом. Мне казалось, что если я больше оперирую – болезнь уменьшалась. Но в клинике я оперировать стал меньше.

Через месяц псориаз распространился на все руки.

Так бы и ушел совсем из хирургии. Но, слава Богу, ушел я только из этой клиники. И перешел в другую клинику. Надо было, наверное, пройти через еще одно близкое к прежнему испытание, прежде чем я нашел свое место, нашел нормальную жизнь.

А псориаз сейчас остался только на голове. Что же это было – этот странный период в моей жизни? Назвать его пропавшим временем нельзя. Наверное...»

– Евгений Львович, вы ж хотели через час отключить его?

– Да, Валечка, хотел. Давай еще раз промоем ему трахею. И вызови кого-нибудь сюда. Позови сюда Онисова. Пусть сидит, качает. Хоть бы раз зашел, посмотрел бы на больного.

– Он сейчас грыжу оперирует.

– Ну, Лев Павлович Агейкин пусть придет. Или кого из девочек позови. Или нет. Давай промоем ему, и пусть подышит сам. Посмотрим. Который час?

– Два часа.

– Уже! Мне ж, наверное, ехать надо сейчас. Эй! Как дела? Легче? – Больной благодарно, удивленно ответил верхними

веками. В глазах было: «Кто же я! За что?» Мишкин махнул рукой. – Ну работайте.

Из ординаторской он позвонил Гале и назначил ей свидание у входа в контору по снабжению медоборудованием.

Прием был им назначен на 15.30. Около четырех часов их и принял начальник конторы этой Петр Игнатьевич Бояров. Бояров. Ну что, виден стройке конец?

Адамыч. Ну не так чтобы близко, но уже пора думать о внутренних.

Мишкин. Да знать хотя бы, что положено и что дадите.

Бояров. Семиэтажка?

Мишкин. Угу.

Бояров. Шесть операционных?

Мишкин. К сожалению.

Бояров. Почему к сожалению?

Банкин Василий Николаевич. Вы подумайте – триста пятьдесят коек. Разве нам хватит шесть операционных мест?

Бояров. У вас как распределятся койки?

Адамыч. Пять отделений по семьдесят коек. Сто сорок чистой хирургии, сто сорок травмы, семьдесят оперативной гинекологии.

Бояров. А как же вы столы распределите?

Мишкин. И не знаем даже. На хирургию один экстренный стол, как минимум? Так?

Бояров. Ну.

Мишкин. Один на травму?

Бояров. Ну.

Мишкин. По два плановых стола на каждое хирургическое отделение и по одному на травму. Так?

Бояров. Почему по два на каждую хирургию?

Мишкин. Если в отделении семьдесят коек, то в среднем в день будет одна две большие операции с наркозом и несколько мелочей под местной анестезией. Так?

Бояров. Ну.

Мишкин. Под местной, как правило, операции почище. Это ведь грыжи, вены, всякие маленькие опухоли поверхностные. Значит, если один стол, то сначала надо делать мелочь, а потом переходить к большим операциям. Значит, операции на желудках, скажем, на желчных путях, на кишечнике, пищеводе, легких – придется начинать после двенадцати. А так нельзя. Так?

Бояров. Ну.

Мишкин. Значит, надо два стола.

Банкин. Итого – четыре, два, два и один для гинекологии – девять, стало быть.

Бояров. Ну.

Мишкин. Что «ну»?

Бояров. Ну, мало. Как же вы выйдете из положения?

Банкин. Плохо выходим из положения. Решили по три стола травме и хирургии. А в гинекологическом отделении сделали из перевязочной еще одну операционную. Все равно два стола еще нужно.

Бояров. А два стола в одну операционную нельзя?

Адамыч. По метражу можно. Но строители не разрешают светильники перемещать. В потолочных блоках у них какие-то коммуникации проходят.

Мишкин. Вообще проект устарелый. Реанимация и послеоперационное отделение не предусмотрены начисто. Где-то что-то ломать и перестраивать придется. Больница спроектирована пятнадцать лет назад. А строится только сейчас.

Бояров. Есть уже другой проект. Современный. Еще год будут строить по этому проекту, а через полтора года уже по новому проекту. Тогда вам будет хорошо. Потерпите.

Галя. Потерпите! Нам! Мы уже здесь угнездимся.

Бояров. Ну, вашим друзьям и потомкам. (Смеется.) Ну, хорошо, останавливаемся на семи столах. Хоть это плохо, но сами говорите, что проект устарел. За вашими требованиями не угонишься.

Мишкин. Если догонять со скоростью сто километров за пятнадцать лет. А мы все перестраиваем и перестраиваем. По методу тришкиного кафтана. Так что вы нам дадите? Со столов начнем.

Бояров. Ну.

Мишкин. Сколько?

Бояров. Я ж сказал, десять дам. И в перевязочные.

Банкин. А какие?

Бояров. А вот эти. (Показывает проспект и картинки.)

Мишкин. Да это разве операционные – это перевязочные.

Таких нам надо, по крайней мере, двенадцать. По два на этаж, и в приемное отделение, и в реанимацию.

Бояров. Вот и договорились. Выпиши им, Маркин, двенадцать.

В углу комнаты за столом сидел человек, на которого они вначале не обратили внимания.

Банкин. Нам два ортопедических стола надо. Каждому травматологическому отделению.

Бояров. Да они больше трех тысяч стоят. Деньги есть?

Адамыч. На новый корпус денег-то дали. Да что-то толку от них, когда не знаешь, как реализовать. Ведь вы ничего не даете?

Бояров. Ну.

Адамыч. Что «ну»?

Бояров. Как же не даем! Два ортопедических стола хотите?

Банкин. Ну.

Бояров. Берите. Маркин, выпиши один стол.

Мишкин. Хоть один. Еще пять универсальных операционных столов.

Бояров. Нету.

Мишкин. Да как же нет? Ведь не можем же мы открыть без них хирургическое отделение.

Бояров. Ну хорошо. Маркин, выпиши им два стола.

Мишкин. Как же два! Ведь в каждый операционный зал надо поставить по столу. Вы же планировали корпус. Как же

можно корпус хирургический планировать, а столов к нему нет! Абсурд. Мы не откроем корпус.

Бояров. Откроете. Обязут.

Банкин. А оперировать на чем?! На каталках, что ли!?

Бояров. Найдем на чем. Разберемся. Дальше что?

Адамыч. Наркозные аппараты.

Бояров. Это плохо. «Наркон» хотите?

Банкин. Это типа «Макинтоша», что ли?

Бояров. Ну.

Мишкин. Так они для полевых только условий годятся да в перевязочные. А для больших операций... На каждый этаж, в перевязочные, пять штук, пригодятся.

Бояров. Маркин, выпиши пять «Нарконов». А для больших операций дадим венгерский «Хирана 6» и наш УНАП 2.

Галя. А «Полинаркона» нашего нет?

Бояров. Ни одного.

Галя. Завод-то работает, производство налажено – куда ж они делись?

Бояров. У нас, кроме вашей больницы, ничего нет, да? У нас институты, у нас госпитали, у нас учреждения гражданской обороны. У нас все! А тут ваша больница вдруг.

Галя. Но не мы же запланировали нашу больницу, а вы. Два аппарата на триста хирургических коек – это анекдот, это смешно, это преступно, в конце концов!

Бояров. Ну ну!

Мишкин (бьет Галю под столом ногой). Петр Игнатьевич,

но это же действительно неупреждение мало.

Бояров. Пока так. А там разберемся. Что еще?

Мишкин. Думаете, чего забудем? (Улыбается. И все улыбаются.) Еще дыхательная аппаратура.

Бояров. Один РО 2.

Галя. Он же давно устарел. Сейчас пользуются РО 3 или РО 5.

Бояров. Сделаете, оформите приказом по горздраву реанимационное отделение – дам РО 5.

Мишкин. Светильники над столами.

Бояров. Маркин, выпиши, что есть.

Банкин. А что есть?

Бояров. А что есть, то и есть. Осветите. Из ничего не только конфетки не сделаете, но и дерьма.

Адамыч. Насчет кроватей как?

Бояров. Каких?

Мишкин. Вестимо каких. Не этих, которые у нас в инвентарной ведомости числятся как «больничная койка», а по существу койка солдатская. Нам функциональные нужны. Чтоб тяжелые больные лежали.

Бояров. Сколько?

Мишкин. Мы бы хотели все. Чтоб как в институтах.

Бояров. Seriously давай.

Мишкин. Пятнадцать в послеоперационное отделение и реанимацию и по десять, пожалуй, на каждый этаж.

Бояров. Был договор у нас с зарубежной фирмой. По сто

сорок рублей кровать. А они, подлецы, на сто сорок семь сделали. Так что у меня на весь город всего триста кроватей сейчас есть. Дам десять. Маркин, выпиши. И все. Все. Вре-
мя. Конец рабочего дня. Смотрите, сколько времени убили.
Маркин, все, иди.

Галя. Было бы у вас все, что надо! Дел-то на десять минут.

Бояров. Вам все тят-ляп. Это дело, а не черт те что. Сего-
дня день такой, что даже пообедать не успел.

Мишкин. Мы тоже, Петр Игнатьевич. Может, пойдем, по-
обедаем вместе?

Бояров. Когда? Сейчас?

Мишкин. Ну.

Бояров. Все равно есть-то надо. Пойдем. Пойдем в ком-
пании. А куда?

Мишкин. Да вот же ресторан. Ваш сосед.

Бояров. Ну ладно. Подождите меня в коридоре. Я сейчас.
В коридоре они сбились в кучу.

Галя. Дерьмо мужик.

Мишкин. Зря ты. А его положение каково! Ничего нет, а
все пристают.

Галя. Все равно не нравится.

Мишкин. Все, что не соответствует нашим взглядам, – на
наш взгляд, плохо. Вот в чем беда. Просто мы думаем не
так, как он. Ну да ладно. Деньги у кого есть? У меня с собой
только одна пятерка.

Банкин. У меня трояк.

Галя. Я в магазин собиралась. У меня десятка.

Мишкин. Мало. Мотай, Галя, домой, возьми деньги и сю-да.

Галя. Да дома тоже нет. Завтра зарплата.

Мишкин. К матери поезжай. Завтра отдадим, наберем. Нам бы сейчас.

Адамыч. А мне, может, вам не мешать, уйти, а?

Банкин. Конечно. Мы тут с ним по-свойски. Как думаете, поможет?

Адамыч. Ну.

ЗАПИСЬ ПЯТАЯ

– Нет, Женька, ты как хочешь, но я не могу понять, чем вы, медики, отличаетесь от всех остальных профессий, что вам необходима какая-то особая клятва.

– Это говорит тебе представитель науки точной, а я, как представитель полунауки и мира эмоций, полностью присоединяюсь. Вот так. А если серьезно – болтовня одна и фанфаронство. Впрочем, может, это чисто хирургическое.

Женя. Я не знаю, нужна клятва или нет, но непосредственно и конкретно очень страшно с чужой жизнью иметь дело. Знаешь, я человек несусеверный, но зачем я буду рисковать чужой жизнью и оперировать тринадцатого в понедельник. Не так ли? И ты, Володька, и ты, Филька, оба вы рационалисты. Ко всему подходите с позиций двадцатого века, зависящих от количества элементарных частиц или еще чего-то меньшего. А медицина еще не достигла уровня двадцатого века. Это биология еще только старается. И пока мы ведем счет на одно человеческое тело. Это страшно. Вот и придумывает человечество до сих пор всякие клятвы.

Володя. Насчет частиц, дематериализации – ты бы лучше не лез, куда не понимаешь.

Филипп. Действительно, пользуйся своими медицинскими примерами и образами и не лезь больше никуда. Ты-то понимаешь ли, что говоришь?

Женя. Ну ладно, до матча осталось тридцать минут. Телевизор выключаЙ. Выпиваем – и я начинаю вещать. Ваше здоровьечко. Пообедать успеем, а?

Филипп. «Дин сколь, мин сколь», как говорится. Конечно, успеем.

Володя. Соленые помидорчики – это «во»! А ваша клятва – это тьфу! Если человек порядочный, то он и без клятвы будет что надо. А не порядочный – и из-за соленого помидорчика...

Женя. Верно говоришь. Выпьем.

Выпили. Жуют. Недолго молчат.

Женя. Там, где есть точные знания, есть счет – где точно известно, что надо делать в тот или иной момент эксперимента ли, производства ли, ремонта ли, заранее можно рассчитать, – там, где делается не по велениям души, не по какой-то там интуиции, неосознанной информации, – там нечего и говорить о каких-то клятвах. Клятва нужна как обряд посвящения в орден и для соблюдения устава.

Володя. Верно. Так зачем вы из себя орден строите?!

Женя. Да это не мы – это все вы. А мы тоже. Мы и есть определенный орден, братство, в идеальном варианте братство, призванное помогать страдающим, созданное для ликвидации, по возможности, страданий телесных. Прощеньица за пафос просим, но пафос и ритуал тоже входят в обряд. И по идее – это не чиновничий аппарат (эх, хорошо бы); к сожалению, не рационалистический аппарат науки, – а может,

и не к сожалению, — а какое-то душевное движение с какими-то знаниями. Мы пока не наука, но много умеем...

Володя. Тогда другое дело. Тогда так и объявите.

Женя. Вы меня спрашиваете — я говорю свою точку зрения.

Володя. Это верно. Настоящая наука может позволить себе раскованность, расхристанность, пренебрежение ритуалом. А пока науки нет — надо быть закованным в какие-то полушаманские обряды, например клятву. Тут-де другое дело. Нет вопросов больше. Надо быть закованным, застегнутым на все пуговицы, закрытым высоким и строгим, почти пасторским воротничком, чтобы походить на строгого ученого. Например, клятва. Клятва и показная строгость — братья. Необходимы. Особенно если ты еще при этом думаешь, что являешься представителем науки, да к тому же самой гуманной... как это у вас там произносится с павлиньей гордостью. Долго говорим очень.

Филипп. Если уж говорить о науке, то физики могут себе позволить, как поэты, ходить в свитере, в куртке и на конгресс и по горам. Медик же, если он мыслит себя «представителем», вынужден накидывать петлю из галстука. Впрочем, поэт в горы не пойдет. Прогресс искусства еще настолько не вырос, конечно. Каждый в чужом понимает больше и с большим удовольствием говорит не о своем, когда только представляется возможность.

Женя. В искусстве нет прогресса, быть не может. Оно все-

гда впереди. Так как прогресс в основном это борьба со смертью, а...

Володя. «Друг Аркадий, не говори красиво». И не говори трюизмами. Говори про свое.

Женя. Ты-то, конечно, про свое говоришь. Еще выпью – знаешь, как заговорю! Как физики. Нравится мне феня физиков. То бишь ее нет. Это хорошо. Физики, например, могут себе позволить назвать какую-то там частицу, или подчастицу, или полчастицы именем призрака, порожденного фантазией полумистического писателя, и измерять эти миражи единицами странности или шарма.

Филипп. Ты слишком много знаешь – тебя надо убить.

Володя. Объясняю тебе, Филек. Это он про кварки и Джойса. Ну, болтун.

Женя. Ну, погоди – я про свое хочу. Вот мы, медики, стараемся ликвидировать все личностное, свободное, раскованное, нестрогое. Международная комиссия анатомов ликвидировала именные названия некоторых частей тела организма. Меняют свою орденскую феню. А многие, многие поколения врачей вот уже сотни лет называли паховую складку именем Пупарта. Теперь имя отменено. Фатеров сосок теперь должно именовать: Большой сосок двенадцатиперстной кишки. Теперь нет ни трубы Фаллопия, ни трубы Евстахия. Мы строгостью, респектабельностью, обрядовостью заменяем точные знания. И пока точных знаний нет – нам это нужно: и клятва, и одежда, и ритуал при обсуждениях. А все по-

тому, что наша наука – это будущее, сложнее всяких там химий, физик. Человек или человечество еще просто не доросло до нашей науки.

Володя. Ну, гуляешь, парень. Да что вы без этих наук?

Женя. Именно. А для чего они? Для человека. Чтоб познать человека. И дух, и тело. Вот мы и ждем вас.

Филипп. Ну вот, дождался. Мы собрались здесь.

Женя. А все прочие науки создают у человека манию величия. В свое время дошли, что, если поддеть большой камень палкой, которую посередине опереть на камень маленький и надавить на свободный конец, большой камень оторвется от земли. И сразу же: дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир.

Володя. Болтун. На кого замахиваешься!

Женя. Не огорчайся. Математики спесь сбили. Когда стали считать, почему яблоки падают. Как-то манию величия поубавило.

Филипп. Я, как представитель не знаю чего, предлагаю продолжить трапезу, иначе не успеем. И не обобщай, Жека. Все основные ошибки, заблуждения и злоупотребления мира и в мире начинались с обобщений. Бойся их!

Женя. Иди ты и молчи. А химия занималась поисками камня и способа превращения дерьма в конфетку и газовых миражей.

Филипп. Это нашли. Из газа сейчас и шубы делают.

Женя. Все верно, но дай досказать, потому как когда нач-

нут играть Бразилия с Англией, то наука и все прочее должны будут умолкнуть. Ну, дайте поговорить.

Володя. Ну, пыли дальше. Время на исходе.

Женя. Мы ждем, когда все ваши поверхностные науки сольются в одну нашу и создадут настоящую медицину. А пока не можете, не мешайте нам быть орденом, попами, шаманами, лицедеями, нам нужны клятвы, запрещения курить, пить, не есть сладкого или соленого, бегать трусцой и так далее, потому что все-таки мы много умеем и многим помогаем. А что умирают все же – так стопроцентная смертность останется до скончания мира, наверное.

Филипп. Что касается бега – час утром, и все прекрасно.

Женя. Не знаю. Чувствуешь ты себя, может, хорошо. Удовольствие свое имеешь. И я рад за тебя и за всех остальных радующихся бегунов. А вот полезно это или нет – время покажет, пока неизвестно.

Володя. Ну, теперь поболтай насчет духа. Ты сегодня наговорился. За всех.

Женя. А дух – это другая сфера. Здесь пока верить надо, как в медицину, как в бег, в прыг, в сахар, облепиховое масло... во все. Вот когда, вдруг, сумеют дух разложить на элементарные частицы да кварки, тогда мы тоже начнем его измерять странностями и шармом.

Филипп. Я опять вынужден включиться. Время вышло. Включаю телевизор.

Филл включил телевизор, и тут же раздался звонок.

Филипп. Да выключи ты его, Володька, к черту.

Володя. Всегда как что-то интересное – так телефон. Последний звонок, и все – выключаю. Я слушаю. У меня. Сейчас. Ну, вот тебе! Из больницы. Ты начальник – дай быстрее решительные указания и садись, не мешай.

Мишкин. Вот так. И я поехал в больницу. Я не посмотрел, как играл Пеле. Не видел в этот раз игру Мура, Чарльтона. Я поехал в больницу, куда привезли тяжелую травму. Под крики и стенания ребят я еще позвонил Гале, но ее не было, а наш анестезиолог был в отпуске.

«Кто ж даст наркоз? – думал я в такси. – Интересно, что за травма. Сказали, черепная. И я поехал, даже не расспросив. Может, зря. А не помчался ли я, ничего толком не выяснив, из чистого пижонства. Не хотел ли просто показать ребятам, что ордена, подобные нашему, требуют служения, а не службы или обслуживания. Вот вы, мол, остаетесь получать удовольствие, а я вынужден... Напрасно я не расспросил как следует. Такой футбол пропустил. Теперь уже поздно. Этому пижонству полтора рубля. От Вовки до больницы. А если зря и побегу обратно ко второму тайму – то и все три рубля. Дорого тебе, папаня, это пижонство встанет. А вдруг оперировать придется. Кто ж наркоз даст? Конечно, Агейкин правильно вызвал. Молодец – не постеснялся. И от гордыни можно не вызывать».

В больнице мне ничего не рассказывали, а просто показали человека, у которого из лица торчал кусок, сектор

циркульной пилы. Как древняя секира, этот сектор врубился прямо в середину лица, рассекая лоб, нос, верхнюю челюсть и разодрав нижнюю губу. Зубчатый край пилы был во рту. Больной был в сознании, кричал: «Спасите меня, доктора!» Рот, нижняя челюсть двигалась при этом, а пила пилила нижнюю губу. На снимке видно, что пила входила вглубь больше чем на половину черепа.

– Как он живет?

– Непонятно. И в сознании.

– Перестаньте кричать. Помолчите. Вы же хуже делаете.

Как его зовут?

– Помогите!

– Ты смотри. Губу пилит. Перестаньте.

– Василий Петрович! Он не понимает. Он пьяный.

– Надо дать наркоз.

– Здесь сложный наркоз. Сестра не даст. Вера в отпуске, и Гали дома нет.

– Да помогите же!

– Господи, он же пилит себе рот.

– Налаживайте пока капельницу и введите сразу фентанил с дропериолом.

– Да вы что, Евгений Львович! Откуда это у нас? Не говорю даже. Это из той больницы невропатолог приносил. А своего нет. Тот кончился.

– Я по одному флакончику спрятал у себя в кабинете. Сейчас принесу.

Я взял у себя в запаснике снадобья из мира институтов и привилегий, отдал сестре, сказал, как делать, и тут мне пришла в голову идея.

– Группу крови определили?

– Третья.

Я побежал к телефону.

– Лев Падлыч, – я, по моему, его и огорошил и шокировал таким именем, да еще на радостях от идеи стукнул по плечу, может быть, сильнее чем надо. – Идея! Идея, коллега Агейкин!

– Что это вы так обрадовались?

– Есть у нас телефон выездной бригады пересадок органов?

– Вы думаете, не вытянет? Я тоже так думаю.

– Дурак ты, Падлыч. – Я был, конечно, в излишнем восторге от идеи, придуманного имени и, наверное, выпитого вина, которое постепенно улетучивалось. – Давай телефон.

– Пожалуйста. Вот записан он.

– Алло! Здравствуйте. Трансплантация? У нас есть очень тяжелый черепной больной.

– Бесперспективный для вас?

– Знаете ли, пока живет, всякий перспективный. Как вам сказать. Очень тяжелый.

– Какая группа?

– Третья.

– Ох, это нам очень нужно. А что с ним?

– Кусок циркульной пилы расколол череп пополам.

– А так-то он здоровый был? Сколько лет?

– Тридцать четыре года.

Вошла сестра:

– Евгений Львович, ввели. Молчит. Вроде бы загрузился.

Я кивнул головой и махнул рукой, чтобы шла туда, к больному.

– Сейчас приедем. У нас больной лежит на искусственной почке с уремией. Третья группа позарез нужна.

Позарез!

Теперь я им самое главное скажу.

– Только у меня знаете, какая просьба к вам. Тут для операции наркоз очень сложный нужен, а у нас анестезиолога нет, только сестра. Захватите вашу реанимационную бригаду. Поможете, а уж если не выйдет, будете брать.

– Договорились. Как проехать? Какая больница?

Я сказал, и минут через пятнадцать они уже были у нас в больнице.

Когда я кончил говорить по телефону, в ординаторскую вошел мужчина:

– Здравствуйте. Мне сказали, что приехал заведующий отделением. Могу я с ним поговорить?

– Пожалуйста. Слушаю вас.

– Вы Евгений Львович?

– Да.

– Я начальник техники безопасности с завода, где произо-

шло это несчастье.

– А-а. Слушаю вас.

– Скажите, Евгений Львович, он безнадежен? Есть надежда?

– Надежда всегда есть. Но он очень тяжелый, ничего не могу вам сказать. Может, и удастся спасти. Сейчас начинают наркоз.

– Что жене-то мне сказать?

– Да так и скажите. А дети есть?

– Один есть. А через четыре месяца второй должен быть.

Простите, Евгений Львович, вы как считаете, он пьяный?

– Кажется, пьяный.

– Вы понимаете, это ведь тоже очень важно. Уж как с Васей будет, это, как говорится, Бог даст, а вот ответственный за технику, так сказать, безопасности по тому участку, как говорится, под суд может загреметь.

– А он виноват?

– А кто ж его знает. Работал Вася без экрана – нельзя. Но если он пьян, как говорится, тогда тот не виноват, так сказать. А если не пьян и погибнет – под суд. Обязательно под суд. Да и еще незадача. Этот техник по безопасности только что прошел, как говорится, курс лечения от алкоголизма, так сказать. Сейчас не пьет. А уж теперь сорвется, точно. Он как услышал про это, сразу с места сорвался и исчез. Неизвестно где.

– Ничего вам сейчас не могу сказать.

– И у этого двое детей, так сказать. А звонить вам можно, узнавать, как дела?

– Конечно. Запишите телефон. Он записал.

Агейкин кому-то по телефону ответил, что не может сейчас позвать сестру.... И я опять, как запрограммированный, прошелся по поводу хамства. Ну, ведь действительно же не трудно позвать сестру.

Но Агейкин всегда точно знал, что, и кому, и как положено, а что и нет, какой должен быть порядок, что для этого нужно. Он все знает – и что государство ему не за то деньги платит, чтобы он ходил сестер к телефону звал, и личные разговоры – это нарушение труддисциплины. И наконец, главный его аргумент: «Сегодня одну позовешь, а завтра всем звонить будут».

Что ж я с ним буду спорить. Я только могу, если подойду к телефону, пойти и позвать сестру. А его бы я с удовольствием после такой вот профвредности отправил бы на санкур-лечение. Другие-то зовут к телефону. А может, тоже нет.

Пошел в операционную. Вася лежал, молчал, глаза закрыты, но на оклик открывал их. Просто загружен лекарствами. Это хорошо.

Пока не приехала бригада, хотел позвонить ребятам, узнать про футбол, но вспомнил – они телефон отключили.

Наконец приехали вороны за органами. Но они у меня сначала должны справить функции голубей со святой водой, живительной.

Реанимационная бригада осмотрела больного и занялась налаживанием наркоза. А я, в ожидании разрешения мыться, болтал с доктором их. Перед операциями, при чужих, на меня иногда нападает болтливость. Вот и сейчас:

– А вы как вороны с надеждой уклюнуть что-нибудь. – Это я вместо благодарности. Хорош! Самому стыдно стало.

– Не бойтесь, коллега, – это она мне кидает. – Ворон ворону глаз не выклюнет.

И поделом мне.

– Это я так пошутил. У нас с вами не вороньи отношения. Ведь именно они-то, воронье, собравшись, не могут столкнуться. Они-то, наверное, и клюют друг друга. И над каждым новым трупом новая драка. Это они, воронье, себя успокаивают, что не выключают.

Усмехнулась: «Доктор, мойтесь».

Я с Падлычем пошел мыться. Как быстро я привык к этому имени.

Началась операция. Нам удалось довольно легко удалить эту секиру. Я боялся кровотечения из венозного синуса, но он, по-видимому, как это ни странно для локализации раны, не был поврежден. Пилу убрали – ничего не случилось. Показатели больного оставались стабильны.

Анестезиолог из бригады, ждавшей возможность забрать почку, все время успокаивала меня и поддерживала:

– Все хорошо, доктор, все хорошо. Он стабилен. Работайте спокойно.

Хорошо провели наркоз ребята. Да и сама анестезиолог очень приятная женщина. Длинноногая блондинка. Что-то у нее еще в глазах было – слов не найду. Жалко, я ее не разглядел как следует сразу, пока она маску не надела.

Я начал зашивать. Лоб, нос, обе губы зашил легко. Трудно было зашивать во рту, нёбо. Но это трудности были чисто технические. Кости я не сшивал – не было нужды.

В конце операции анестезиолог сказала:

– А больной-то ваших перспектив, не наших.

– Что поделаешь.

– Просто прекрасно. Мне, конечно, жалко того с уремией на искусственной почке. Но дай Бог вашему здоровью, а вам с ним удачи. А мы найдем кого-нибудь. Таких травм относительно много, к сожалению.

Мы кончили операцию. Вася был вполне приличен. После выведения из наркоза глаза открыл, даже что-то сказал. Сознание есть! – это главное. Пока все прекрасно. Если выживет, наши травматологи могут показать его на своем травматологическом обществе. Шутка! – голова пополам. Наверное, не дошла секира до места связи между полушариями. А без маски она тоже вполне прилична.

Почему я так возбуждаюсь после сложных операций? Говорят, что в каких-то странных и страшных единицах какие-то диссертанты ухитрились измерить количество сил, уходящих у хирургов за время операции. Не знаю, не знаю. У меня совсем не так.

Анестезиолог. Я его еще подержу на столе и, если все будет так же, переведу в палату. Привезите кровать сюда.

Сестра. А каталку нельзя?

Анестезиолог. Можно. Но дважды перекладывать для него все-таки тяжело.

Сестра. У нас кровать без колесиков.

Анестезиолог. А специальных подставок подкатов с колесиками нет?

Сестра. Сколько раз ездили в магазин – их все нет и нет.

Анестезиолог (засмеялась). Узнаю нашу неуклонную систему практического здравоохранения. Система осечек не дает. А в институтах, в академической системе, и кроватей функциональных полно и подкаты есть.

Тут и я включился:

– Доктор, а у вас нельзя чем-нибудь поживиться? Какими-нибудь лекарствами дефицитными для нас, например.

Анестезиолог. Надо посмотреть, чего у вас нет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.